№ 2

ISSN 0132—2141

Леонид ЛЕНЧ

ЭТО БЫЛО...

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

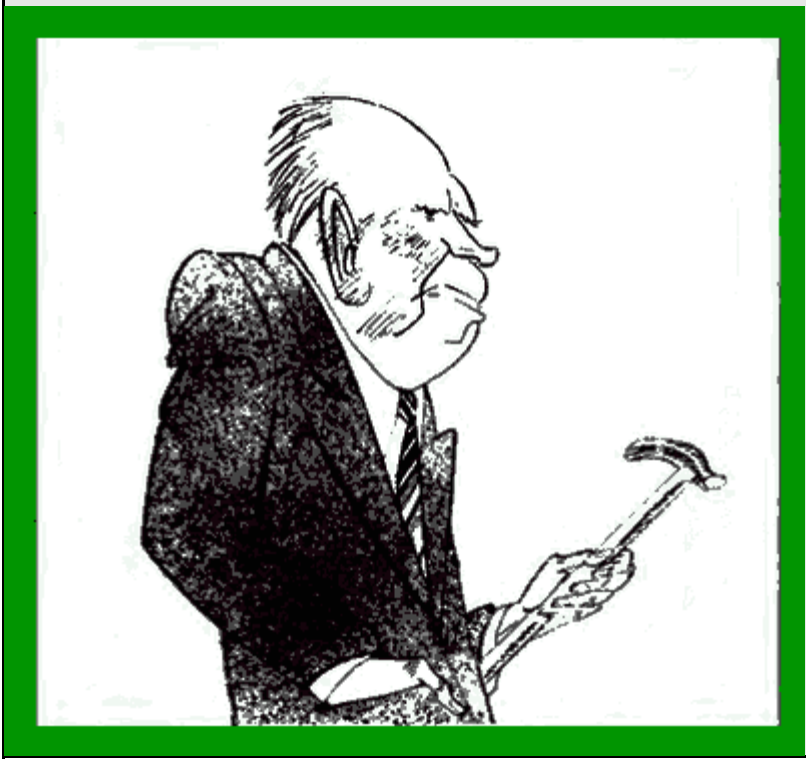
В своем большинстве рассказы, включенные в эту мою крокодильскую книжечку, основаны на подлинных эпизодах из прожитой мною долгой жизни.

Они, увы, не обладают шутливой крокодильской оснасткой.

Но зато в них нет ни грана неправды, а по-моему, когда ты пишешь о своих встречах с такими людьми, о которых пишу я, привирать и что-то придумывать не надо.

- Леонид Ленч
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
- notes
  - 1

Леонид Ленч
Это было



Шарж В. Мочалова

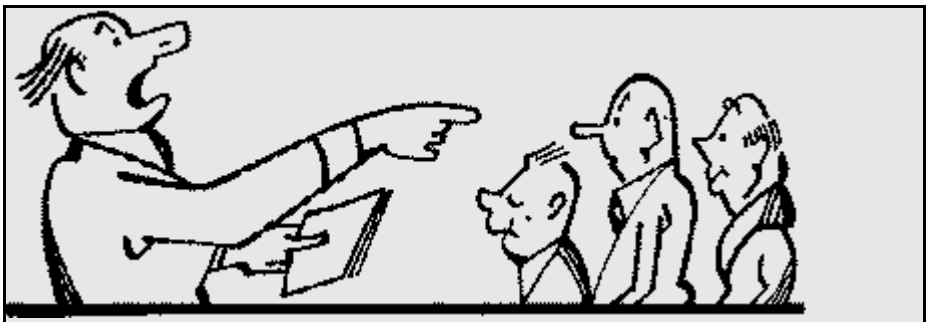
В своем большинстве рассказы, включенные в эту мою крокодильскую книжечку, основаны на подлинных эпизодах из прожитой мною долгой жизни.

Они, увы, не обладают шутливой крокодильской оснасткой.

Но зато в них нет ни грана неправды, а по-моему, когда ты пишешь о своих встречах с такими людьми, о которых пишу я, привирать и что-то придумывать не надо.

Леонид Ленч

Рисунки М. Вайсборда



Златоуст Федулин

Мне могут сказать, что этот мой рассказ написан на старую тему.

Я принимаю этот читательский упрек. Больше, я даже готов назвать его тему избитой. Но что же делать? Мы бьем, бьем из наших сатирических пушечек по общественному пороку, о котором пишу, а он все не исчезает из нашей общественной жизни.

Выход у нас один - продолжать бить!

Итак, "Златоустом" Ивана Семеновича Федулина прозвали сослуживцы за его поразительное умение произносить речи (и речушки) на собраниях и совещаниях по любому животрепещущему поводу.

Потом, когда речь была уже произнесена, а Иван Семенович, солидный, очень серьезный, уже сидел на своем месте (обычно во втором ряду), слушатели понимали, что речь эта была "ни о чем", что Федулин повторил лишь то, о чем уже писали в газетах, не отступая от витавшего в воздухе набора слов и фраз ни на шаг.

Но и, с другой стороны, осудить его было не за что: набор-то был точным и объемным. К чему тут придерешься?!.

Но послушайте, что с ним произошло на последнем собрании, посвященном теме перестройки.

Выступил один оратор, другой, третий. Они говорили о конкретных, реальных задачах - применительно к нашему учреждению, связанных с тем, что мы стали называть перестройкой. Речи их находили свой отклик в аудитории, каждый оратор имел успех - один побольше, другой поменьше. А Иван Семенович сидел у себя во втором ряду, как всегда, значительный и солидный, но несколько удивленный тем, что председатель собрания не дает ему слова.

После шестого оратора он не выдержал, поднялся и громко сказал:

- Я послал в президиум записку с просьбой дать мне слово в

самом начале собрания. Когда же я его, наконец, получу?!

Председатель ответил:

- Записку вашу я получил. Но вот тут поступило предложение прекратить прения. Я его проголосую. Кто за то, чтобы прекратить?

Взметнулся лес рук.

Председатель объявил, что собрание закрыто и что сейчас главное - работать, работать и работать. Сегодня лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня.

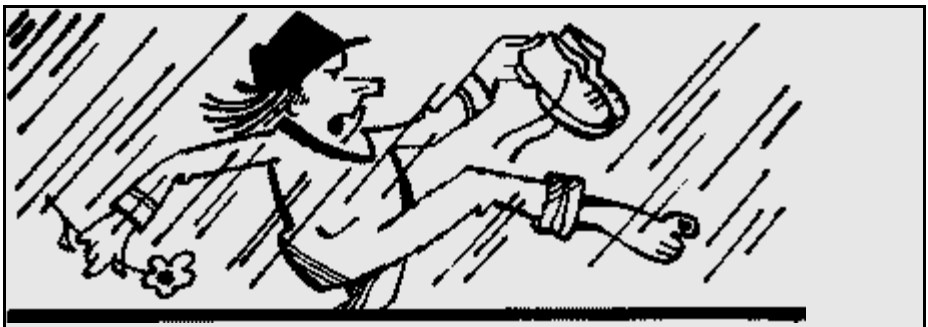
...Иван Семенович остановил председателя, когда тот уже собирался уйти со сцены, и сказал ему, что удивлен и "не скрою, обижен" тем, что не получил слова.

Председатель сказал:

- Понимаешь, Иван Семенович, сегодня у нас на собрании был товарищ из райкома... начальство! Я подумал, как бы он не записал тебя, извини уж меня по старой дружбе, в болтуны. Потому что я-то знаю, что ничего, кроме того, что все знают, ты о перестройке не сказал бы!..

Иван Семенович надулся, но лишь на мгновение. А потом сказал, не скрывая своей обиды, но уже не столь острой:

- Эх ты! А еще друг-приятель. Прислал бы заранее мне записочку, чтобы я выступил с речью против болтунов и пустой болтовни по поводу перестройки. Я бы такую закатил речушку... Ну, ладно, в следующий раз слово мне дашь!



"Смешной человек" и мы – пижоны

Я начал свою сатирическую карьеру в ранней молодости, когда, живя на юге страны в хорошем областном городе, стал регулярно публиковать в местной газете свои фельетоны, написанные, как правило, в сюжетной форме.

Но вот вспоминательная "волна" подняла со дна пережитого еще один жизненный эпизод...

Итак, речь пойдет о "смешном человеке". Что это за человек?

Звали его Виктор Николаевич (фамилию я опускаю), он был профессором - преподавателем анатомии в областном медицинском институте.

Представьте себе довольно высокого худощавого мужчину лет сорока пяти, с неизменной доброжелательной улыбкой на лице, с седеющими кудрями, ровно обрамляющими идеально круглую и идеально лысую голову. Летом эту голову прикрывала от зноя полотняная шляпа, зимой - от ветра - меховая шапка. Весной и осенью Виктор Николаевич носил плащ-крылатку - старинное мужское одеяние крыловско-пушкинских времен.

Он был большим добряком, студенты над ним посмеивались, но любили: Виктор Николаевич никогда никого не резал на экзаменах, а выводил неучу спасительную троечку, говоря при этом всякий раз одно и то же анекдотическое:

- Я верю, что вы это знаете, но почему-то от меня скрываете... Стесняетесь? В следующий раз, пожалуйста, не стесняйтесь!..

Его жена Елена Давидовна была моложе своего мужа лет на шесть-семь. Брюнетка с темно-зелеными глазами, маленькая, вся какая-то уютная и очень хорошенькая, она принадлежала к типу женщин-кошечек. Она тоже имела высшее медицинское образование, но врачом не стала, а занималась, как могла и как умела, домашним хозяйством.

В небольшом (сравнительно) городе, где все красивые женщины и их романы были взяты у нас, у местных "пижонов", на строгий учет, Елена Давидовна занимала особое место. Романов

за ней не числилось, а ее отношения с мужем - это все знали! — были более чем прохладные. Мне остается только признаться, что я пытался стать героем ее романа, но потерпел неудачу.

И вдруг Виктор Николаевич, наш милый анатом... сам завел роман с женой одного адвоката - пустой и легкомысленной женщиной Евой Сергеевной М.! За ней - по нашему пижонскому счету - числились не романы, а мелкие, пошлые интрижки, до которых любвеобильная Ева была большой охотницей. В ее-то сети и угодил Виктор Николаевич.

Тогда (да и сейчас тоже) летом на город часто обрушивались внезапные катастрофические ливни. Однажды такой ливень на несколько часов парализовал всю городскую жизнь: трамваи и автобусы не шли, по мостовой и тротуарам шумно мчались буйные, пенистые реки, небо грохотало, молнии то и дело перечеркивали его своими совершенно сумасшедшими зигзагами. И надо же было так случиться, что как раз на это время у нашего профессора было назначено свидание с его Евой!

Любой другой благоразумный ученый наверняка отложил бы свидание, но не таков был наш милый анатом! Он снял обувь, храбро закатал штаны выше колен и, держа в одной руке свои туфли и носки, а в другой - букет алых гвоздик, отправился на любовное свидание, которое, по его разумению, не подлежало отмене ни при каких обстоятельствах.

Конечно, он был очень смешон в своей крылатке, с мокрыми седыми кудрями, свисавшими из-под шляпы на мокрые плечи, с туфлями и носками в одной руке и букетом алых гвоздик в другой. Ему приходилось при этом взбираться - в таком виде! — на крыши низких провинциальных домиков, перепрыгивать с одной крыши на другую, и снова спускаться на тротуар, и снова нырять в весело ревущие ручьи, стремясь все вперед и вперед - к Еве!

Я случайно наблюдал за его походом, стоя в надежном укрытии от ливня и грозы, ожидая, когда вся эта какофония кончится.

На следующий день над Виктором Николаевичем с моей легкой пижонской руки смеялся весь город. Я не скупился на краски, рисуя его портрет: закатанные штаны, крылатка, туфли и носки в одной руке, а гвоздики в другой...

А сейчас... сейчас меня гнетет чувство позднего раскаяния за этот мой поступок! Если для легкомысленной Евы ее связь с анатомом была именно пошлой интрижкой, то для него она была именно романом с высокими чувствами, с цветами, с преградами, которые нужно преодолеть во что бы то ни стало!

А словечко "пижоны" пустил в обращение - позвольте мне это

напомнить иному читателю - Пушкин в "Евгении Онегине". Пижоны - это юные, беспечные и бездумные искатели любовных приключений.

Деликатная проблема

Перед самым концом рабочего дня появился посетитель, при одном взгляде на которого сотрудник редакции, принимавший жалобы и заявления от читателей, понял, что сегодня ему вовремя с работы не уйти!

Посетитель был хмур, весь какой-то всклокоченный и взъерошенный. "Не уйду, пока своего не добьюсь!" - было написано на его лице.

Он сел на предложенный ему стул и молча уставился на сотрудника.

- На что будем жаловаться? — с привычной бодростью спросил сотрудник.

- Я к вам не с жалобой.

- А с чем же?

- Скорее с рационализаторским предложением... по одной такой... деликатной проблеме! В общем, прочтете, и вы осознаете ее общественную значимость.

Сотрудник взглянул на ручные часы.

- А вы не могли бы... в двух словах изложить суть вашей проблемы? И мы вместе ее осознаем. Нас, знаете, время поджимает!

Посетитель взял со стола свою бумагу и показал сотруднику то, что было в ней напечатано крупными заглавными буквами и подчеркнуто жирной чертой.

- Прочтите хотя бы это!

Сотрудник стал читать вслух:

- "Замечено, что когда у женщины начинается период зубной недостаточности, у нее одновременно повышается агрессивность, свойственная вообще женскому характеру. Объектом агрессии становится мужчина, то есть ее муж; который, по мнению жены, всегда оказывается виновником всех еще не преодоленных нами бытовых трудностей и неурядиц. Проблема мира и покоя в семье

в эпоху технического прогресса..."

Сотрудник прервал чтение, отложил в сторону бумагу и сказал:

- Все это, извините, очень нелепо. Какое же рационализаторское предложение у вас имеется... по этому вопросу?

- Я иду от личного опыта. Моя жена именно такая агрессивная женщина. Когда ее постигла зубная недостаточность (в чем, конечно, оказался виноватым, как понимаете, я!), она обратилась в одну поликлинику, и ей сделали протез. Хороший протез: жевательная способность на высшем уровне, речевая четкость отличная. Но есть одна особенность: как только жена начинает меня ругать, протез автоматически выскакивает из ее рта. Не выдерживает!.. Видимо, его структура не переносит таких мощных звуковых колебаний... Понимаете теперь, какая тут открывается перспектива?

- Позвольте, — сказал сотрудник, — она же может поставить протез на место и начать все сначала!

- Теоретически может, но она воспринимает это выскакивание как некий психологический сигнал и... приходит в норму.

- Какое же у вас рационализаторское предложение?

- Я предлагаю обязать все зубные поликлиники и амбулатории делать для женщин повышенной агрессивности только вот такие протезы... с автоматическим выскакиванием. Заказчица должна представлять в амбулаторию справку от мужа (или от домоуправления), что она не агрессивная, тогда, пожалуйста, ей сделают обычный зубной протез! Справки нет - получай, матушка, с выскакиванием. Но это уже вопросы техники, детали. Тут (он нежно погладил ладонью свою бумагу) у меня все это написано... Вы обещаете мне внимательно изучить мое предложение и дать ему ход? Очень вас прошу!

Сотрудник обещал и... передал его рационализаторское предложение мне, а я, как видите, дал ему ход!

Это было

I

Весной 1925 года я, двадцатилетний студент 2-го курса экономического факультета Ростовского университета, благополучно сдавший все экзамены и переведенный на 3-й, последний курс, оставил "по семейным обстоятельствам" университет и вернулся в Краснодар, покинутый в 1923 году именно ради продолжения высшего образования в Ростове-на-Дону.

Университет я оставил не только по бесшабашному легкомыслию, свойственному ранней молодости, а потому, что окончательно убедился в том, что экономические дисциплины мне не по нутру. Я писал стихи, подписывая их девичьей фамилией своей матери - Леонид Солнцев, был членом Всероссийского союза поэтов, поклонялся Маяковскому и одновременно любил стихи Бунина и сам мечтал о славе поэта. Посудите сами, при чем тут статистика и экономическая география?!

В Краснодар я вернулся с легкой душой. Но надо же было где-то работать: лирические стихи мои не могли, конечно, прокормить нас с матерью. У меня было рекомендательное письмо к ответственному работнику Краснодарского отделения Госбанка Д. С. Иванову, и я пошел устраиваться на работу в Госбанк.

Д.С. Иванов принял меня любезно, обещал помочь. Однако когда я вышел из помещения банка на солнечную, веселую улицу Красную, я с поразившей меня самого отчетливостью понял, что энтузиаста гроссбуха из меня никогда не выйдет, как уже не вышло экономиста, и что идти в банк на работу даже временно мне совершенно незачем. А куда идти? И вдруг (о, это роковое "вдруг", приносящее людям то счастье, то несчастье!) я встретил

на Красной старого приятеля, бывшего студента Краснодарского политехнического института Борю Рискина. Оказалось, что Боря стал журналистом, работает в краснодарском "Красном знамени" репортером и даже иногда помещает заметки с подписью. С какой?

- Я подписываюсь Б. Кин. Как великий английский актер! — сказал Боря, тонко усмехаясь. Вот он-то и уговорил меня идти на работу в "Красное знамя" внештатным репортером, пообещав поговорить обо мне с секретарем редакции Луценко и ответственным редактором Михаилом Ивановичем Базарником.

Забегая вперед, я должен прямо сказать, что это мое "вдруг" стало для меня счастливым "вдруг". Если из меня, недоучившегося беспартийного студента-экономиста, беспредметного, как тогда говорили, лирика, мечтателя, мечущегося по жизни "без руля и без ветрил", получился сначала журналист, фельетонист, литератор, а потом и советский писатель, я всему этому обязан высшей школе, какой была для меня редакция краснодарской газеты "Красное знамя".

II

Труд репортера, однако, тоже не пришелся мне по душе. Я был от природы застенчив, а эта черта человеческого характера противопоказана профессии репортера так же, как, скажем, замедленность реакций- летчику. К тому же я был честолюбив.

"Мечтал о славе поэта, ну, если не всемирной, то в масштабе хотя бы родного отечества, — размышлял я самокритически, — а сам сочиняю десятистрочные заметки без подписи".

Это меня не устраивало и даже угнетало. Да и чувство юмора искало творческого выхода.

"Фельетон - вот куда мне надо идти. Фельетон - это мое место в газете!"

Случай выдвинуться скоро представился. Меня вызвал к себе секретарь редакции Луценко, сам пописывавший фельетончики, и сказал, кивнув на сидевшего у него в кабинете бородатого слезливого старца с холщовой заплатанной сумой через плечо:

- Гражданин жалуется на собес, мне некогда, поговорите с ним и напишите заметку строк на сорок - пятьдесят, не больше.

- С подписью?

- Можно с подписью.

Я поговорил со старцем и... размахнулся на фельетон в сто двадцать строк.

Я уже не помню, чем обидел собес старика с холщовой сумой,

но твердо помню, что обиды эти я художественно здорово приукрасил (приукрасил, но не приврал!), не пожалев сарказма в адрес собесовского начальства.

Луценко мой фельетон понравился, и он отправил его в набор почти без сокращений. Подписан он был - Леонид Ленч. Придумал эту подпись, как мне помнится, тот же Боря Рискин, он же Б. Кин, "однофамилец" великого английского актера. На худсовете репортеров "Красного знамени" подпись приняли и утвердили. Так я и стал Ленчем.

Фельетон мой произвел впечатление в "редакционных кругах", а главное, в собесе. Старик с заплатанной сумой получил помощь и пришел в редакцию благодарить меня. Он долго тискал меня в своих объятиях и, благоухая, как писал Стивенсон, "отнюдь не амброй", елозил по моему лицу бородой, мокрой от слез благодарности. За первым фельетоном последовал второй, третий, и не успел я оглянуться, как стал популярным на Кубани фельетонистом.

Наверное, я писал свои фельетоны неплохо, во всяком случае, я тщательно работал над их языком, искал образное решение для темы фельетона, придумывал броские названия, не скупился на лирические эмоциональные отступления и острил напропалую со всей своей студенческой пылкостью.

Однако секрет популярности моих (да и не только моих) фельетонов среди читателей заключался, думается, не только и не столько в литературных качествах моих писаний, а в их общей направленности. Ведь советский образ жизни только утверждался тогда, происходил, собственно говоря, процесс становления советского строя. На Кубань этот процесс пришел вообще с опозданием на три года, вычеркнутые из жизни гражданской войной. В практической работе советских органов, в особенности низовых, бывали ошибки, допускались иногда несправедливости, давали себя знать бюрократизм (в то время он даже не прибегал к тонким приемам мимикрии, а был голенький, первозданный), волокита и в особенности тот вельможный и грубый порок, который Ленин назвал метким словечком "комчванство". Обиженные люди, естественно, видели в газете своего защитника, ревнителя чистоты принципов и идеалов нового общества. А кто в основном выполнял эту защитную функцию газеты? Фельетонист!

Я получал великое множество писем от читателей. Подавляющее большинство моих фельетонов в "Красном знамени" было написано или по письмам, или в результате личного общения с людьми, у которых была та или иная нужда в печатном слове. Надо было определить, имеет ли эта нужда общественное значение, годится ли самый факт для фельетона, для

сатирического заострения или лучше переправить жалобу в отдел писем. Тут, конечно, дело не обходилось у меня без ошибок, случались перехлесты. Не раз задетые моими фельетонами влиятельные товарищи пытались свести счеты со мной, но редактор "Красного знамени" М. И. Базарник с неизменным тактом, ссылаясь на мою молодость, отстаивал и спасал меня.

III

Писал я, само собой разумеется, и фельетоны другого типа, иной тональности. Однажды мне передали послание эмигранта-белогвардейца к своим одностаничникам. В этом письме изгой укорял казаков-земляков за покорность Советам, стращал их: "Ужо вернемся, покажем кое-кому!"

Станичники обсудили послание на общем собрании и отправили земляку за границу свой ответ, написанный хлестко и едко, по всем канонам казачьего фронтового юмора. Материал был первоклассный. Я написал фельетон, обыграв в его вступительной части картину Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану".

Не прошло и трех дней после его опубликования в газете, как я получил анонимное письмо, в котором некто, пожелавший остаться неизвестным, очень вежливо сообщил мне, что гонорар за этот фельетон- виселицу - я получу в свое время.

Помню свой стихотворный фельетон - 8 строк, — наделавший в Краснодаре много шуму. В городе гастролировал знаменитый в те времена певец-бас. За большие деньги он спел обедню в краснодарском соборе. Я откликнулся на эту его "гастроль" такими стихами:

Вот клирос, свечи, воздух спертый
И умиленных сотни глаз,
Рычит, как лев, на глас четвертый
Прославленный столичный бас.
И регент, робко пряча профиль,
Не поднимает камертон.
Ведь на обедне - Мефистофель...
Ох, виноват, — отец Платон.

Администратор певца пришел в редакцию обижаться, требовал опровержений и извинений, говорил, что я "срываю гастроли, запланированные центром", потому что певец очень недоволен и решил уехать из города, где позволяют себе такие

насмешки над его персоной. Редактора Базарника, человека твердого, но очень деликатного в обращении с людьми, в редакции он не застал, принимала его Нина Торская, заместитель редактора, старая большевичка, ходившая в кожаной вытертой куртке и мужской кепке, прямая и резкая на язык женотдельщица. Мы, молодые журналисты, ее побаивались.

Администратор певца вошел в кабинет Торской уверенной походкой жуира и баловня судьбы, а через пять минут выскочил оттуда, как ошпаренный кот. Мне даже показалось, что он жалобно мяукнул, убегая из редакции.

IV

Я писал в "Красном знамени" не только фельетоны, а и очерки, и корреспонденции, и судебные отчеты. Приходилось много ездить по станицам, особенно в страдную пору хлебозаготовок. В станицах шла тогда ожесточенная классовая борьба - ее хорошо описал В. Ставский в своих очерковых книгах. На станичных собраниях выступали ораторы-подкулачники (кулаки обычно молчали, они были режиссерами и дирижерами), задавали "товарищу докладчику из города" хитрые вопросы, вроде такого, модного в то время: "Почему у городских рабочих есть свои союзы, а у хлеборобов их нет?" Я помню приезды в Краснодар А. В. Луначарского, А. И. Микояна, Маяковского. Помню выступление в Краснодарском драматическом театре председателя Северо-Кавказского краевого исполнительного комитета Петра Алексеевича Богданова, в прошлом крупного инженера, осанистого человека, носившего небольшую рыжеватую бородку. Старик казак, по росту и обличью бывший конвоец, стоявший в толпе у подъезда театра, сказал, делясь с другими казаками своими впечатлениями от выступления Богданова:

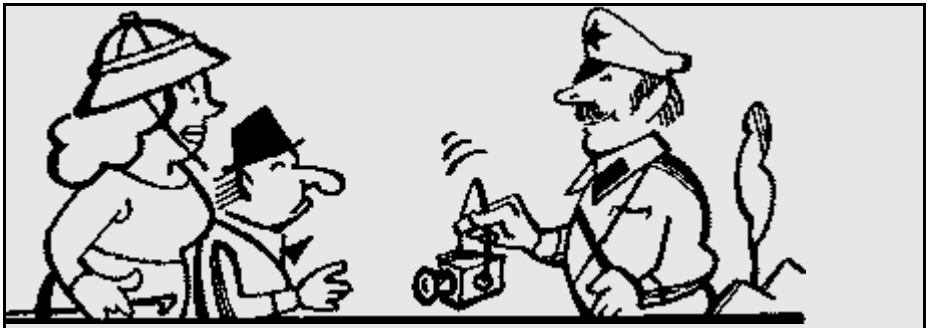
- Толковый! И видный из себя! Даже бородка, как у Миколая!

Анастаса Ивановича Микояна, бывшего одно время секретарем Северо-Кавказского бюро ЦК партии, мы с репортером "Красного знамени" Анатолием Талиным сопровождали в его поездке по кубанским станицам. Анастас Иванович выступал на собраниях и митингах, казачество встречало его восторженно. Еще бы - сам Микоян говорил на этих митингах, что казак может носить бешмет и черкеску, петь старые казачьи песни, блюсти старые казачьи обычаи и что ничего дурного в этом для Советской власти нет. В какой-то станице товарищу Микояну поднесли бурку и шапку-кубанку, и он надел бурку поверх

шинели. Дальше ехать пришлось на дрезине. Дрезина мчалась как ветер, и я совсем окоченел в своем плаще, подбитом тем же самым ветерком. Анастас Иванович снял с себя казачью бурку и накинул ее мне на плечи. Много лет спустя, когда нас, делегатов одного из писательских съездов, принимали в Кремле руководители партии и правительства, я благодарно напомнил Анастасу Ивановичу этот эпизод. Свой приезд на Кубань и теплоту, с какой встречали его кубанцы, Анастас Иванович не забыл.

В 1930 году я получил телеграмму из Ташкента от редактора газеты "Правда Востока", органа Средне-Азиатского бюро ЦК партии, приглашавшую меня на работу в эту газету в качестве фельетониста. Редактором "Красного знамени", окружной газеты, тогда был Михаил Пантюхов, бывший балтийский матрос, участник штурма Зимнего дворца, красногвардеец, человек очень интересный - русский самородок горьковского склада. Он отпустил меня, сказал на прощание:

- Лети, Леня, выше, крепи крылья!



Следы Марко Поло

Пришел однажды майским утром 1929 года в редакцию нашей "Правды Востока" страшно возбужденный Володя М., король ташкентских репортеров, и с порога сказал:

- Есть потрясающая новость, ребята, настоящая сенсация! В Ташкент приехала итальянская миллионерша, ходит по городу со своим любовником, профессором-археологом!

Я спросил Володю с нарочито деланным зевком:

- Ты ее видел?

- Видел! Такая... ничего себе! Сверх-Бальзак по возрасту, но еще хоть куда! Белые бриджи, высокие сапожки, красная кофточка, в руках стек, на голове колониальный пробковый шлем. Представляете?! У них какая-то особая виза от Наркоминдела. Она собирается ехать на Памир стрелять тигров, а он будет искать следы Марко Поло. Материальчик - пальчики оближешь!

- Ты взял у них интервью?

Володя помрачнел и тяжело вздохнул.

- Хотел взять, но мне сказали: "Володя, не надо!.."

Володя вздохнул еще горестней.

- Разве у нас понимают, что такое настоящая сенсация для газеты!

Махнул рукой и пошел в машинное бюро диктовать репортаж об открытии новой кооперативной чайханы в районе Куриного базара.

Итальянская миллионерша, охотница на тигров, и ее археолог вскоре снова дали знать о себе. Они приехали в Самарканд, остановились в гостинице, и там у них из номера стащили портативный съемочный киноаппарат самой новейшей американской марки. С помощью этого аппарата профессор-археолог собирался зафиксировать на пленке следы великого путешественника Марко Поло. Если, конечно, такие следы - в широком смысле этого слова - будут им обнаружены в горах и

долинах Памира.

Обескураженная парочка обратилась за помощью к высшим властям республики.

Принял пострадавшую миллионершу один весьма влиятельный товарищ, получивший в свое время образование в Сорбонне, свободно изъяснявшийся на трех европейских языках, обаятельно-учтивый, с внешностью восточного принца из музыкального стилизованного спектакля.

Миллионерша сказала, что аппарат в конце концов ей не жалко, но ведь пока там, в Италии, для нее купят новый и пока он дойдет до Самарканда из Неаполя, срок ее визы укоротится до такой степени, что и тигра она не успеет убить и следы Марко Поло не будут найдены.

Влиятельное в республике лицо сначала выразило ей в самых изысканных выражениях свое сожаление по поводу случившегося, а потом твердо заявило:

- Мадам, ваш аппарат через два, максимум через три дня будет доставлен вам в гостиницу. Тут произошло какое-то недоразумение, и оно будет исправлено.

Миллионерша и археолог ушли, скорее удивленные категоричностью этого заявления, чем обрадованные им.

А влиятельный товарищ тут же вызвал в свой кабинет начальника Самаркандского уголовного розыска. Он сказал ему в той же своей учтивой манере, что украденный киноаппарат должен быть найден и возвращен владелице завтра, от силы послезавтра, а если не будет... Тут влиятельный товарищ улыбнулся очень ласково и закончил:

- ...то тогда пеняйте на себя!

Начальник Самаркандского уголовного розыска знал, что влиятельный товарищ слов на ветер не бросает, в особенности тогда, когда произносятся они с ласковой улыбкой, и поспешил заверить высокое начальство, что киноаппарат будет найден и возвращен владелице именно послезавтра. После чего вернулся к себе в уголовный розыск, вызвал своего старшего агента и, копируя влиятельного товарища во всем, вплоть до его ласковых улыбок, повторил то, что только что сам от него услышал.

В тот же вечер старший агент вызвал к себе свою клиентуру - бывших уголовников, "завязавших", как говорится, со своим мрачным прошлым и проживавших в городе на покое.

Старший агент уже не улыбался, говоря с ними, и речь его была лишена учтивости и лоска.

- Вот что, господа хорошие! — сказал старший агент. — Если не получу завтра киноаппарат, всех... под метелку! Вы должны знать, кто такую свинью мог нам подложить! Овечками не

прикидывайтесь! Понятно?!

Далее последовали слова, не поддающиеся воспроизведению в печати.

После долгой и томительной паузы поднялся со своего места некто щуплый и лысенький и сказал:

- Василий Петрович, это не наши напозволяли, это беспризорники, судя по всему...

- Меня это не касается! — оборвал его старший агент. — Мое дело - сказать, а ваше - работать!

На следующий день киноаппарат был торжественно вручен владелице, когда она после завтрака в ресторане вернулась в свой гостиничный номер.

Миллионерша пришла в восторг, она позвонила по телефону влиятельному товарищу, рассыпалась в благодарностях и сказала, что восхищена блестящей работой самаркандской уголовной полиции.

- Милиции! — поправил ее влиятельный товарищ. — Полиции у нас нет.

- Да, да, именно милиции, — подхватила радостно миллионерша, — потому что наша полиция искала бы пропажу год и все равно бы не нашла. Я хочу выразить свою благодарность вашей полиции, то есть милиции. Как и где я могу это сделать?

- Вам надо обратиться в газету, мадам! Лучше всего в "Правду Востока", в ее самаркандское отделение.

Спецкором и полпредом "Правды Востока" в Самарканде был тогда Коля С., хороший журналист, человек простых нравов, ходивший по городу в ночной сорочке, в белых полотняных штанах и сандалиях на босую ногу. В таком виде он и сидел у себя в отделении за письменным столом, сочиняя очередную корреспонденцию на вечную тему борьбы за повышение урожая хлопчатника, поглаживая себя - для вдохновения - рукой по белобрысому щетинистому ежику волос, когда в комнате вдруг появились миллионерша из Неаполя в своих белых бриджах и красной кофточке и ее любовник-археолог, тоже в бриджах, но в клетчатых, носатый, печальный и черный, как старый утюг.

Коля С. учтиво поднялся со своего стула и стоя выслушал восторженный монолог итальянки в переводе ее любовника.

Когда они его закончили, он сказал:

- Я что-то не пойму, что вы хотите от нашей газеты, гражданка?

- Я хочу выразить через вашу газету свое восхищение работой самаркандской милиции.

- Зачем? — сказал Коля С. — Это ее обязанность. Наша милиция всегда так работает.

- Тогда... — итальянка достала из своей сумки чек на крупную сумму в валюте на какой-то солидный неапольский банк, — я хочу пожертвовать Советской власти эти деньги в знак моей благодарности за киноаппарат.

Археолог перевел Коле ее слова.

Коля С. покраснел так, что его белобрысый ежик стал совсем белым, и сказал:

- Советская власть не нуждается в ваших подачках, гражданка. Переведите ей точно то, что я сказал! — приказал он археологу.

Археолог перевел.

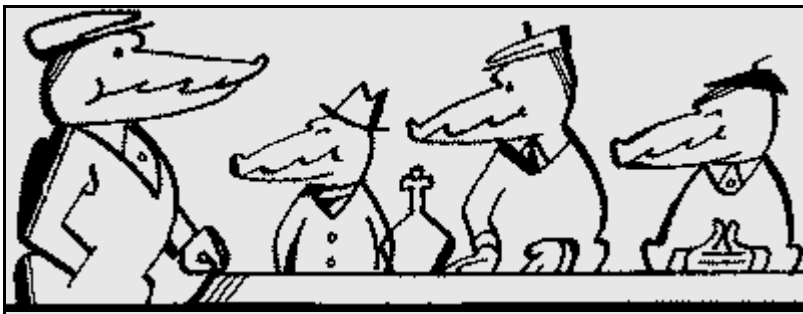
Итальянка смутилась, и, видя ее смущение, Коля смягчился:

- Я слыхал про вашу историю. Ваш аппаратик у вас свистнули беспризорники, гражданка. Беспризорные дети - это наследие нашей гражданской войны и нашей разрухи. Мы ведем общественную борьбу с этим бедствием. Тут, за углом, находится контора благотворительного общества "Друг детей", можете отдать свой чек им. Переведите ей!

Археолог перевел.

Итальянка расцвела снова и сказала, что сейчас же пойдет в контору "Друг детей" и передаст кому нужно свой чек. Коля, шаркнув босой ногой в сандалии, пожал ей руку, и знатные гости покинули самаркандское отделение газеты "Правда Востока".

Чек свой итальянская миллионерша действительно передала обществу "Друг детей" в Самарканде, и на этом следы ее пребывания в Советской Средней Азии теряются, так же как потерялись и не были обнаружены ее другом следы другого итальянца - великого путешественника Марко Поло.



"Крокодил" и крокодильцы

...Навеки умолкли веселые хлопцы,
в живых я остался один.

Я. Шведов

I

Забавная история, точнее, одна из версий о том, как журнал "Крокодил" заполучил свое название, а вернее сказать, имя, известна многим. Но не всем: ведь читательские поколения сменяются с космической быстротой.

Итак, собрались в 1922 году видные и не очень еще видные московские литераторы во главе со старым большевиком редактором "Рабочей газеты" К. Еремеевым для того, чтобы дать название новому журналу юмора и сатиры издательства "Рабочая газета".

Издательство решило его издавать, преследуя не только благородные цели социального советского воспитания читателей смехом, но и чисто коммерческие, житейские: юмор и сатира всегда были делом издательски прибыльным.

Думали, думали собравшиеся, выкурили, как полагается, сотни папирос, выпили неимоверное количество чаю с сухарями, но крестины оказались дьявольски трудными: ведь надо было дать такое имя журналу, чтобы оно и определяло его направление, и обладало к тому же той звонкой летучестью, которая мгновенно проникает в читательские уши. Вспомним хотя бы такие броские названия, как "Осколки", "Сатирикон", "Новый Сатирикон", "Смехач", "Бузотер", "Лапоть" и другие.

И вот, когда уже все изнемогли и в комнате, где шли крестины, воцарилась тяжелая, казалось бы, безысходная тишина,

неожиданно раскрылась дверь, ведущая в коридор, и на пороге возникла пожилая уборщица с ведром, тряпкой и веником в руках. Она сказала полусердито, полушутливо:

- Долго еще вы будете тут заседать, крокодилы вы этакие?! Мне домой пора!

Еремеев вынул свою знаменитую трубку изо рта и сказал:

- Журнал будет называться "Крокодил"! Можно идти по домам! Всё!

Меня, конечно, на этом заседании не было: я жил тогда не в Москве да еще и был слишком молод для занятия таким серьезным делом, как литературная сатира и юмор.

Крокодилы, как известно, в наших климатических условиях водятся только в зоологических садах и парках, для России более популярно такое животное, как, например, серый волк. Неизвестно, какой смысл тетка-уборщица вкладывала в понятие "крокодилы". Но тем не менее журнал "Крокодил" быстро завоевал читательскую популярность, а главное, не в пример своим собратьям оказался весьма живучим. Сколько интересных журналов того же направления отдало богу (или сатане?) душу в раннем возрасте! Взять хотя бы такой превосходный московский журнал, как "Чудак", где редактором был М. Кольцов, а литературным отделом заведовали Ильф и Петров. "Крокодил" пережил всех! В силу каких своих особенностей? Постараюсь прояснить это дальше.

II

Как и откуда я лично пришел в сатиру и юмор? Начинал я как поэт в двадцатых годах на Кубани и на Дону, потом журналистика (фельетон и очерк), потом, после встречи с Евгением Петровым в Краснодаре и с его благословения, переход к прозе - юмористической, сатирической и к обычной.

Я недавно с большим интересом и удовольствием прочитал в "Литературной газете" высказывания Вениамина Каверина. По его словам, он писал и пишет лишь о том, к чему имел или имеет личное отношение, как действующее лицо либо как человек, знавший хорошо участников этих событий. Я принадлежу в этом смысле к таким же писателям, как В. Каверин, в особенности в чистой прозе. А в юморе и сатире? — спросите вы. Ну, во-первых, почему сатира и юмор - это не "чистая" проза? А во-вторых, самыми удачными (не только у меня, а у любого писателя-сатирика и юмориста) получаются те произведения, в которых он пишет о том, что его самого насмешило. Остальное - профессия

или, еще хуже, ремесло. На мой взгляд, самая главная - иногда даже трагическая! — опасность для начинающего литератора-юмориста - это застрять на всю жизнь в низинах ремесленничества. Сколько я знал таких литераторов! И знаю!

Первым литератором-крокодильцем, с которым я познакомился - сначала заочно, в письмах, — был Лазарь Митницкий.

Я послал в "Крокодил" из Краснодара, где тогда трудился в качестве фельетониста в местной газете "Красное знамя", какие-то свои фельетоны и в скором времени получил очень любезный ответ из журнала за подписью Л. Митницкого, польстивший моему тогда еще юному тщеславию: "Напечатаем, давайте еще!"

В 1932 году, когда я уже перебрался в Москву и работал в газете "Водный транспорт", я познакомился с Л. Митницким лично. Он оказался симпатичным и добрым человеком, хорошо понимавшим свою задачу- привлекать к сотрудничеству в журнале литературную молодежь, тяготеющую к сатире и юмору, привлекать не с показным казенным гостеприимством, а душевно, просто и так, чтобы это было реальным делом.

Сам Митницкий был сатириком-публицистом. Все, что выходило из-под его пера, было весьма назидательно и гладко.

III

На моих глазах более чем за полвека сменилось семь главных редакторов "Крокодила" - М.З. Мануильский, М.Е. Кольцов, Г.Е. Рыклин, Д.Г. Беляев, С.А. Швецов, М.Г. Семенов, Е.П. Дубровин. Никого из них уже не осталось в живых. В 1985 году журнал возглавил сатирический поэт и литературовед А.С. Пьянов.

Михаил Мануильский, родной брат председателя Коминтерна Дмитрия Захаровича, был пожилой тихий человек со скорбными глазами. Я не запомнил его смеющимся или даже улыбающимся. На шумных сборищах темистов журнала, где обсуждались темы карикатур и шутливых рисунков и смеялись иногда до упаду, с его лица не сходило выражение скорби! Он выполнял свою руководящую роль. Его "бросили" на юмор, и он добросовестно делал свое дело.

Он не раз скорбно говорил молодому Виктору Ардову, читая его произведение, предлагаемое к публикации в журнале:

- Не кажется ли вам, Ардов, что тут вы не преодолели влияния мелкобуржуазной стихии?

Виктор Ефимович лишь улыбался в ответ:

- Мне лично не кажется, Михаил Захарович!

Михаил Захарович вздыхал и ставил на рукописи две буквы "в" и "н" - "в набор". Человек он был добрый и вверенных ему людей притеснять не любил.

О Михаиле Ефимовиче Кольцове, авторе знаменитого "Испанского дневника", человеке блестящем, обладавшем к тому же редкостным даром общительности и человеческого обаяния, у нас написано много, и я скажу лишь, что те пять лет - с 1934 по 1939 год - когда он был редактором "Крокодила", на мой взгляд, были золотым веком журнала.

Именно Кольцов пригласил меня на штатную работу в "Крокодил", и меня по его "тайному" указанию не загружали никакой мелкой, но необходимой для журнала литературной работой, а дали мне возможность спокойно заниматься главным: писать юмористические и сатирические рассказы.

У Кольцова была своя редакторская манера оценки и правки рукописи. "Зарубив" рукопись, он не писал резолюции на ней, а говорил автору или просил ему передать, что он, Кольцов, просит его еще раз (а надо будет, и еще один!) перечитать заново свое сочинение и самому дойти до понимания его непригодности для опубликования в таком виде. Можно спорить, насколько полезна для авторов такая манера редактирования, но мне она нравилась, и я в этом смысле к редактору Михаилу Ефимовичу Кольцову претензий не имею. А благодарен я ему остался, как говорится, "по гроб жизни".

М.Е. Кольцова сменил Григорий Ефимович Рыклин, тоже газетный фельетонист, хотя и не столь блистательный, как Кольцов. Но Г. Рыклин вошел в историю советской сатиры и советского юмора как "явление положительное". Так именно о нем сказал сам М. Е. Кольцов, когда однажды позвал меня поехать в Центральный Дом журналиста на вечер чествования Г. Е. Рыклина по случаю его 50-летия.

- Поедемте со мной. Рыклин - положительное явление, ему будет приятно увидеть нас вдвоем: я - от старшего поколения сатириков, вы - от младшего...

На долю Г.Е. Рыклина выпала такая трудная задача, как вести сатирический и юмористический журнал в годы войны с немецким фашизмом- 1941-1945 годы. Журнал пережил эвакуацию из Москвы, потом вернулся в столицу. А свои старые, верные ему кадры не растерял!

Дмитрий Герасимович Беляев, сменивший Рыклина, до назначения в "Крокодил" работал корреспондентом "Правды" на периферии. Он был маленького росточка и носил ботинки на очень высоких каблуках, но чувством юмора обладал и, читая веселые рассказы или рассматривая смешные рисунки, улыбался

открыто и смеялся громко, от всей души. Он вошел в историю советской сатиры как автор прогремевшего фельетона, опубликованного в "Крокодиле", — "Стиляги". В нем был красочно охарактеризован этот отрицательный общественно-психологический тип.

У него было еще одно ценное редакторское качество - он не боялся брать на себя ответственность за публикацию в журнале острых, "опасных" материалов, он не принадлежал к тому, увы, нередко встречаемому у нас типу редакторов, оценивающих рукопись с одной меркой: "А не повредит ли моей редакторской карьере это "опасное" сочинение?"

Сатирик С. Ананьин вспоминает, как Беляев, выслушав мнения членов редколлегии "Крокодила", высказывавшихся против публикации в "Крокодиле" одного такого "опасного" материала, сказал спокойно:

- Материал будет опубликован в ближайшем номере. Всю ответственность за публикацию я беру лично на себя.

Беляев умер молодым. И пост редактора занял Сергей Александрович Швецов, неплохой сатирический поэт, но весьма осторожный, даже, я бы сказал, боязливый редактор.

На смену ему пришел Мануил Григорьевич Семенов, а его заместителем стал Борис Адрианович Егоров - один из тройки в то время молодых писателей-сатириков: Егоров, Привалов, Полищук.

М. Семенов[1] был опытным газетчиком-фельетонистом. Он долгое время работал в "Известиях". В своей фельетонной практике он предпочитал обобщение, когда повторение в каждодневной жизни общества однотипных отрицательных фактов создает проблему, с которой надо бороться, в том числе и средствами сатирической публицистики.

Не могу не вспомнить о Борисе Егорове. Это был интересный писатель-сатирик. Семнадцатилетним мальчиком он со школьной скамьи добровольно ушел на войну, окончил военное училище, стал артиллеристом, командовал батареей.

Уже в Германии, на подступах к Берлину, отбивая атаку эсэсовцев за высоту, где стояла его батарея, Борис Егоров вызвал по радио "огонь на себя" и уложил чуть ли не весь их батальон. Атака эсэсовцев была отбита, но сам он был тяжело ранен.

За этот подвиг Борис Егоров был награжден орденом Боевого Красного Знамени.

Умер он в расцвете творческих сил от паралича сердца.

После М.Г. Семенова журнал редактировал Евгений Пантелеевич Дубровин, автор сатирической повести "Грибы на асфальте" и юмористических произведений для детей старшего

возраста. А потом его сменил на посту главного редактора "Крокодила" сатирический поэт Алексей Степанович Пьянов, до этого заместитель главного редактора журнала "Юность".

Я не стану оценивать работу "Крокодила" в последние годы - тут всегда уместно вспомнить вовремя совет такого умницы и блестящего русского сатирика, как Алексей Константинович Толстой:

Ходить бывает склизко
По камешкам иным.
Итак, о том, что близко,
Мы лучше умолчим.

Я убежден лишь в одном: "Крокодил" жил, живет и будет жить. Решения XXVII съезда партии - программа действий для всех советских людей и организаций, а для сатирического журнала в особенности. Работы у "Крокодила" в XII пятилетке хватит, что называется, по горло. Пожелаю успеха любимому журналу и его новому редактору Алексею Степановичу Пьянову во всех начинаниях.

IV

Михаил Ефимович Кольцов был назначен редактором "Крокодила" в 1934 году, и этот год стал для журнала переломным.

Журнал изменился и внешне, и внутренне, изменился к лучшему. В нем начали работать Ильф и Петров, сотрудничали Николай Адуев, Илья Сельвинский, Эмиль Кроткий (Эммануил Герман). Из молодых в журнал на штатную работу Кольцов пригласил меня, в то время разъездного корреспондента газеты "Водный транспорт". Впрочем, у меня к тому времени уже возникли творческие связи с Союзом писателей. Заместителем Кольцова по "Крокодилу" работал Л. Лагин - автор романа "Старик Хоттабыч", постоянными сотрудниками были В. Карбовская, Виктор Ардов, Г. Рыклин. А карикатуру блестяще представляли такие мастера, как А. Радаков, М. Черемных, К. Ротов, Ю. Ганф, А. Каневский, Л. Генч, М. Храпковский...

Что меня приятно поразило, когда я стал в журнале своим человеком, — это творческая дружеская спайка крокодильского коллектива. Крокодильцы любили свой журнал и, понимая все трудности работы в жанре сатиры, с какой-то особой бережной нежностью относились друг к другу.

Для меня некоторые из них были людьми полулегендарными, к таким я, например, причисляю Алексея Александровича Радакова. Этот удивительный художник и оригинальнейший человек с лицом старого индейского вождя - друг Аркадия Аверченко, был к тому же в свое время редактором "Галчонка", единственного в своем духе детского сатирического русского журнала. Издавал его тот же А.Т. Аверченко. На его обложке красовался симпатичный смешной носатый галчонок. Выходил "Галчонок" по воскресеньям, и мы с братом не могли дождаться прихода очередного воскресного утра, чтобы поскорее побежать на угол к знакомому старику газетчику за очередным свежим "Галчонком". И вот надо же было так сложиться в моей жизни, что уже в советское время я стал сослуживцем редактора "Галчонка".

Алексей Александрович Радаков был типичный старый "богемщик": всякие заботы и хлопоты о бытовом преуспевании были ему чужды и противны. Однажды он меня встретил на улице и затащил к себе в гости - в маленькую комнатку в коммунальной квартире где-то на теперешнем Калининском проспекте. Он познакомил меня с молчаливой женщиной "со следами былой красоты" на лице и печальными глазами; обращаясь к ней, Радаков называл ее на "вы" и по имени-отчеству. Он захотел угостить меня стаканом красного вина - початая бутылка стояла на столе в полупустой убогой комнатенке, но тут выяснилось, что в распоряжении хозяина имеется на троих лишь два стакана. Радаков пригляделся и нашел выход: он вытащил из стакана с зубными щетками, стоявшего на подоконнике, все его вооружение и налил себе вина туда. Мы чокнулись и выпили за "Крокодил".

Совсем другим человеком был Михаил Михайлович Черемных, во всем крупномасштабный: и во внешности, и в творчестве, в особенности в плакате - тут он особенно преуспел. Его жена Нина Александровна, такая же, как и ее муж, — рослая, крупная, красивая женщина. Она делала под плакаты Михаила Михайловича короткие, броские стихотворные подписи, что способствовало их успеху.

Я любил бывать у Черемныхов в их уютной маленькой квартире, слушать рассказы Михаила Михайловича о Сибири, о его творческих общениях с В. В. Маяковским. Прекрасная это была супружеская пара!

Константин Павлович Ротов - Костя Ротов, гордость "Крокодила", самый, пожалуй, смешной крокодилец-рисовальщик. Ротов обладал большим чувством юмора, и он проявлялся у него буквально на каждом шагу и в самой неожиданной форме. Запомнился мне такой, например, эпизод. Однажды на темное совещание в журнале явился Николай Альфредович Адуев.

Почему-то пришел поэт на костылях - где-то ухитрился повредить ногу. Тем не менее он был так же громогласен, как всегда, и особенно эффектен со своей бородкой клинышком и при костылях. Костя Ротов тут же вырезал из бумаги белый крестик и к нему как бы георгиевскую черно-желтую бумажную ленточку и незаметно прикрепил этот знак отличия сзади на адуевский пиджак. Мы все буквально помирали от смеха, глядя на поэта с Георгием на заду, а он ничего не подозревал. Но когда узнал причину нашего смеха, не обиделся, а стал хохотать вместе со всеми.

Юлий Абрамович Ганф, элегантный и остроумный человек, был не только изобретательным художником-карикатуристом, но и первоклассным темистом. Самые острые и самые смешные темы для карикатур "Крокодила" - плод сатирической фантазии Ю. А. Ганфа.

Помню, как однажды он обратился ко мне и сказал:

- Леонид Сергеевич, вы знаете, какой народ на свете самый воинственный?

- Не знаю, — сказал я.

- Финны, — сказал невозмутимо Ганф, — они даже ночью не расстаются с финками, так и спят с ними!

Аминадав Каневский был иллюстратором одной из моих первых книг рассказов, и я вспоминаю его с добрым чувством.

Хочется мне вспомнить здесь и Генча, отличного художника-карикатуриста и очень доброго и простодушного человека. Настоящая фамилия Генча была Генч-Оглуев. Его не то отец, не то дядя, богатый нахичеванский (кажется) армянин, был близким приятелем моего отца, и когда отец умер в возрасте 43 лет от сыпного тифа, будучи главным врачом ростовского эвакогоспиталя, вручил маме довольно крупную по тем временам сумму денег, чтобы поставить на ноги меня и моего старшего брата Дмитрия, студента Ростовского университета. Мы и жили на эти деньги, потому что после смерти отца оказались без всяких средств к существованию, — наша квартира и все имущество остались в Петрограде-Ленинграде.

Восстановление Советской власти на юге России помогло мне и брату определить свою дальнейшую судьбу: брат начал работать в рабоче-крестьянской инспекции (контрольно-ревизионные органы), а я был избран в областное правление профсоюзов совработников и поселился в Краснодаре.

Крокодильцы-литераторы, вместе с которыми я трудился в журнале, — это Виктор Ардов, Семен Нариньяни, Варвара Карбовская, Борис Ласкин, Шатровы, Ю. Благов, М. Раскатов...

Виктор Ефимович Ардов стал моим близким другом. Это был

настоящий весельчак от природы и - тоже от природы - порядочный человек, существовал в прежние времена такой термин. Помнится, как я, уже работая в штате журнала, зашел вечером в ресторан Дома журналистов поужинать и встретил там Ардова. Мы сели вдвоем за столик, и Виктор Ефимович сказал мне в непривычно серьезном для него тоне:

- Считай себя крокодильцем, мы тебя приняли!

Умер он вскоре после своего 75-летия. Его отвезли в больницу. Лежал он в отдельной палате. Его пришла навестить жена Нина Антоновна, актриса и режиссер театра Советской Армии. Виктор сказал ей: "Я, пожалуй, немного посплю", — улыбнулся, закрыл глаза и... больше их уже не открывал. "Смерть праведника" - говорили в таких случаях в прежнее время. А он и был "праведником" - уже в новом, в нашем понимании этого слова.

Я считаю, что мне повезло как писателю в том, что я на самом ответственном этапе своего писательского становления оказался связанным с "Крокодилом". За все, что он мне дал, приношу ему свою творческую благодарность. Пишу об этом безо всякой привычной для истого крокодильца иронии.

Дорогой Миша

I

Сначала он был для меня просто писателем Михаилом Зощенко, автором знаменитой "Аристократки" и других шедевров комической прозы.

Я любил его рассказы. И не выносил изделия его многочисленных подражателей, среди которых, впрочем, бывали большие искусники. О, как ловко они рядились в его словечки, с какой спекулятивной развязностью напяливали на свои туши его тонкую, самобытную манеру письма! Жаргонная грубость, которая у Зощенко была естественной особенностью языка его героя-рассказчика и, как правило, в лучших вещах не выпирала наружу, у них превращалась в самоцель. Зощенко пользовался жаргоном как средством обличения мещанского свинства и пошлости, они - на потребу тому же мещанству, сумевшему уцелеть во всех социальных бурях эпохи.

Потом он стал для меня Михаилом Михайловичем. Это произошло, когда мы познакомились в середине 30-х годов. Знакомство состоялось в редакции "Крокодила", редактором которого стал Михаил Кольцов. В редакции начали появляться тогда интересные люди из "большой жизни"- знаменитые стахановцы, пограничники, партийные работники. Потянулись на кольцовский огонек и писатели. Заходили Демьян Бедный и Алексей Толстой - оба массивные, шумные, стали бывать сдержанный, суховато-печальный Илья Ильф и размашистый, веселый Евгений Петров. Частым гостем редакции был Виктор Финк, автор "Иностранного легиона", изредка приезжал из Ленинграда и Михаил Зощенко. В один из его приездов в сутолоке очередного редакционного совещания (на крокодильском языке это называлось "свистать всех наверх") я, тогда еще только вылупившийся из скорлупы провинциальной

застенчивости начинающий юморист, и был ему представлен.

Какой он был? Первое мое впечатление: хрупкий, изящный, невысокий, ладненький, черноволосый, с болезненным цветом лица, но не бледным, а желтовато-смуглым, с красивыми глазами, карими, женственными - украинская кровь! — и под глазами густая, темная тень. Не то от усталости, не то от болезни сердца, которую он вынес из окопов первой мировой войны.

Понравилась мне его манера говорить, чуть растягивая гласные, понравился глуховатый тембр голоса.

Ко мне он отнесся ласково, и именно это доброе отношение Михаила Михайловича и позволило мне обратиться к нему в 1938 году с просьбой дать мне рекомендацию в Союз писателей. Одну рекомендацию уже дал мне Евгений Петров, но нужны были две. Михаил Михайлович откликнулся на мою просьбу письмом. Оно у меня сохранилось, и я приведу из него два отрывка:

> "Дорогой тов. Ленч!
>
> Я получил Ваше письмо. В ближайшее время я пошлю в Президиум Союза свои принципиальные соображения о жанре комического рассказа (и о Вас). Было бы нелепо не признавать этот жанр. Если же этот жанр будет "признан", то нет основания Вас не принимать в Союз. Постараюсь это сделать убедительно".

И дальше:

> "Уверяю Вас, что меня не признавали лет десять. И перечисляя писателей - не упоминали моего имени. Я на это реагировал тем, что ушел в тонкий журнал и там утвердил то, что казалось сомнительным.
>
> Сейчас иные времена. И сейчас необходимо перед Союзом поставить вопрос о "признании" жанра юмористического рассказа. Тем более, что юмористическая литература почти всегда массовая. И повторяю- глупо Союзу от нее открещиваться.
>
> Итак, на днях пошлю в Союз письмо.
>
> Шлю привет.
>
> 17.ХП.38 г. М. Зощенко.
>
> Уверен, что все обойдется хорошо".

Все действительно "обошлось хорошо". В 1939 году я был принят в Союз писателей.

II

Мишей стал для меня Михаил Михайлович значительно позже. Дружескому нашему сближению способствовало то обстоятельство, что моя жена Лиля Борисовна Островская, ныне покойная, знала М.М. Зощенко еще по Ленинграду, и они были большими друзьями. Приезжая в Москву, Михаил Михайлович часто бывал у нас, а когда мы с женой бывали в Ленинграде, то сразу же звонили ему из "Европейской" или из "Астории" и уславливались о свидании. Он приходил в точно назначенное время, все такой же изящный и моложавый, но заметно поседевший, в неизменном темном костюме и ярко начищенных ботинках - это была его слабость - черные, хорошо начищенные ботинки, — садился и тотчас же вытаскивал коробку самых дешевых папирос - "гвоздиков".

Если встреча происходила в ресторане, нам хотелось угостить его как следует, но он брал карточку кушаний и вин и, безразлично пробежав ее глазами, всякий раз заказывал себе одно и то же: биточки в сметане.

- Да возьмите себе что-нибудь поинтересней, — говорил в этих случаях кто-нибудь из нас, но он улыбался и повторял:

- Нет, мне, если можно, биточки в сметане и бутылочку пива.

Он всегда отличался почти аскетической невзыскательностью в быту и в пору своих больших гонораров много помогал всем, кто в этом нуждался.

И нынче, когда я думаю о том, как этот хрупкий, болезненный, немолодой человек мог выдержать свалившиеся на его голову беды, я прихожу к заключению, что его спартанская закалка сыграла тут не последнюю роль. И еще его несгибаемая принципиальность. Ведь он, как никто другой, был подлинно советским писателем, убежденным сторонником социальной революции, интеллигентом, вставшим под ее знамя в самые первые трудные исторические минуты. Из его биографии не выкинешь тот факт, что этот штабс-капитан, награжденный орденами, добровольно стал красным командиром, адъютантом командира полка имени деревенской бедноты, сражавшегося против белой армии генерала Юденича.

Его духовную цельность не сломили тяжелые годы испытаний. Он не хныкал, не злобствовал, он лишь удивлялся, не понимая, за что и почему его критикуют. Пытался понять, но не мог!

И юмор, золотой зощенковский юмор, никогда его не покидал. Только горечи прибавилось в нем, да и то немного, пожалуй.

Однажды сидели мы у меня в номере в "Астории" - Зощенко, ленинградский кинорежиссер Тимошенко, моя жена и я - и на все лады обсуждали очередную ленинградскую легенду: в городе объявился некий загадочный старичок, утверждавший, что ему 165 лет, что он родился раньше Пушкина и своими глазами видел, как бунтовали декабристы на Сенатской площади 25 декабря 1825 года. Ему в тот роковой день тоже якобы попало: наскочил кавалергард и палашом отсек кусочек уха. В доказательство загадочный старичок предъявлял свое укороченное ухо и выписку из каких-то ведомостей 1825 года, отпечатанную, впрочем, на машинке. Из выписки следовало, что титулярный советник имярек действительно проходил на Сенатской площади 25 декабря 1825 года и пострадал от кавалергардского палаша. Титулярному была оказана медицинская помощь. Я заметил, что Зощенко очень хотелось поверить в это чудо долголетия. Утром он позвонил ко мне в гостиницу и сказал своим глуховатым голосом:

- Вы знаете, Ленечка, этот ваш старичок произвел на меня такое сильное впечатление, что я не спал всю ночь и под утро подумал, что я при моей выносливости могу прожить столько же. И мне стало так страшно, что я чуть не умер!

Чудо ленинградского долголетия оказалось, конечно, нахальным враньем: загадочный старичок, попутанный бесом странного тщеславия, приписал себе ровно сотню лет!

III

Я позволю себе привести здесь некоторые выдержки из писем М.М. Зощенко к Л.Б. Островской и ко мне. Они, как мне кажется, имеют не только узколитературоведческий интерес. Ведь две ипостаси Зощенко - писателя мощного оригинального дарования и наряду с этим сложного, в чем-то даже загадочного человека - неотделимы одна от другой.

В большинстве своем эти письма в комментариях не нуждаются.

* * *

Из писем к Л.Б. Островской.

"Лилечка!

Приехал домой и заболел. Провалялся несколько

дней с гриппом. И теперь, поправившись, едва брожу. Подозреваю, что наступила старость.

Решимости перебраться в Москву у меня пока нет. Как вы и подозревали - привычный уклад жизни засосет меня, и я снова останусь на берегах Невы.

Может быть, после болезни у меня вялые мысли и мало энергии. Но сейчас мне кажется, что переезд слишком сложен. И что мне искать в Москве, если у меня по-настоящему и нет стремления снова засиять на литературном небе!

Не браните меня за мою склонность к провинциальной жизни. Я ведь случайно прославился и не хотел бы снова этого. А жизнь в Москве - это все-таки поиски утраченного.

Вот поправлюсь совсем и тогда напишу Вам бодрое письмо.

Большое спасибо Вам за хорошее отношение ко мне. Это очень мне дорого!

Ваш Мих. Зощ.

21.IX.49".

"...Очень благодарен Вам за Вашу милую открытку. Отвечаю с запозданием, так как была срочная работа и я подходил к столу лишь с профессиональными мыслями. Делал один срочный перевод с финского. Ведь я теперь стал настоящим переводчиком. Уже выпускаю третью книгу. Причем одна из них весьма прошумела - сейчас ее издают массовым тиражом (в 75000). Это книга финского писателя Лассилы "За спичками" в моей обработке. Фамилию мою поставили в книге столь мелкой печатью, что не сразу можно отыскать. Но под старость я вовсе растерял остатки честолюбия...

* * * * * * * * * * * * * * *

В Москве, вероятно, побываю только весной. Сильно постарел и на женщин поглядываю меньше. Но характер изменился к лучшему - стал спокоен, "как пульс покойника"...

Ваш Мих. Зощенко

20 ноября 50 г.".

IV

Своим переводом повести Лассилы "За спичками" Михаил Михайлович очень гордился, и это была заслуженная гордость хорошо поработавшего мастерового человека. В Финляндии этот перевод высоко оценили, и в финских литературно-критических кругах поговаривали, что художественное значение творчества интересного и оригинального финского писателя Лассилы стало для финских знатоков литературы особенно явственным и весомым, когда появился зощенковский перевод его повести.

Однажды я спросил у Михаила Михайловича:

- В чем секрет успеха вашего перевода? Можете вы мне его открыть?

Он ответил, как всегда, серьезно и обстоятельно, когда речь шла о его работе:

- Финского языка я не знаю, пришлось работать над подстрочником. Привезла его мне в Ленинград из Петрозаводска, из издательства, симпатичная девушка, свободно говорившая по-фински. Я попросил ее подчеркнуть те места в финской рукописи, которые она считает наиболее смешными. Она это сделала, и я получил нечто вроде нотной партитуры моего будущего русского перевода. Это мне очень помогло. Ну, может быть, я еще кое-что добавил. От себя!

И после паузы он прибавил с улыбкой:

- Совсем немножко! И очень осторожно...

Письмо к Л. Б. Островской.

"Люсенька! Извините, что не тотчас отвечаю на Ваше милое письмецо. Был нездоров и в меланхолии.

...Работать с "Крокодилом" трудно на расстоянии. А с "Огоньком" и тем более. Не всякий раз редакции отвечают на письмо, да и чувствуется великое нежелание работать со мной. Поэтому не хочется навязывать свои труды.

Пьесу для Образцова Комитет не разрешил. И по нелепой мотивировке - конфликт не типичен, и не все комические положения исходят от характера. Ну и что? Я не обязан был писать типичные комедии. И театр от этого не пострадал бы. Напротив, был бы веселый спектакль для кукольного театра.

Тут сам черт ногу сломит, если возьмется за театральную работу!

...Сейчас работаю над большой книгой. Но, конечно, без уверенности, что напечатают, непостижимо трудно сейчас в литературе! Но, может, я постарел и перестал

видеть мир, как это надлежит современному литератору?

Нехорошо долго жить на свете...

13.Ш.52. М. Зощенко".

V

Во многих воспоминаниях он выглядит человеком мрачным, необщительным, неразговорчивым. Когда хотят сказать, что юмористы необязательно открытые весельчаки, а бывают среди них и мрачные ипохондрики, в качестве примера называют Михаила Зощенко.

Это не так. Точнее, не совсем так. Дело в том, что Михаил Михайлович не выносил развязных, самодовольных и самоуверенных людей, к какому бы рангу и кругу они ни принадлежали. И, если в компании оказывался такой экземпляр, прятался в свою раковину отчужденности или незаметно куда-нибудь исчезал. Но в своей, дружеской среде он был интересным собеседником, никогда при этом не щеголял застольным остроумием и не претендовал на высокое звание "души общества". Он был из тех, кто готовно улыбается и смеется чужим остротам и шуткам, а сам больше помалкивает, но зато уж если скажет смешное, то уложит слушателей наповал.

* * *

"Люсенька, извините, что не тотчас ответил на Ваши открытки. Эти два месяца зверски работал - для журнала "Октябрь" по их приглашению.

Работа большая - книга новелл, листов на 15. Однако сейчас я заканчиваю только первую часть - она самостоятельна по характеру и поэтому может быть напечатана отдельно от книги.

Как будто бы работа удалась. Недели через две-три посылаю в журнал. После чего (подождав ответа), вероятно, приеду в Москву.

* * * * * * * * * * * * * * *

Конечно, полной уверенности нет, что работа моя будет принята (целиком), но драмы и в этом случае не

произойдет.

Сам возмущаюсь, что со мной стало - всё отскакивает, как горох от стены. Это бывает к старости!

Однако здоровье мое сносное и даже, пожалуй, лучше, чем когда-либо прежде.

Целую Вас, Люсенька! И шлю нежный привет Лёне.

Мих. Зощенко.

31 мая 55 г.".

VI

Зощенко писал ежедневно, преодолевая физическую слабость, душевные тяготы, жизненные невзгоды.

В самое трудное для себя время он работал над рассказами о партизанах и солдатах времен Великой Отечественной войны, рассказами, еще как следует не оцененными критикой. В то же время он обдумывал большой роман о русском офицере времен первой мировой войны, участником которой он был.

Когда Зощенко писал и работа у него спорилась, шелуха жизненных бытовых огорчений отлетала от него и он сохранял жизнерадостность в той мере, в какой она была ему отпущена природой.

Из письма к Л.Б. Островской.

"...Сообщаю Вам печальную весточку. Редакция журнала "Октябрь" отклонила мои рассказы.

У меня были все данные думать, что это мое сочинение из 10 рассказов написано весьма хорошо, но вот оказалось, что это не так. Одно из двух: либо меня не хотят печатать, либо я и в самом деле ошибся, постарел и потерял способность писать.

Склоняюсь ко второму. Вероятно, я не так, как надо, подхожу к жизни и к литературе. И поэтому так грубо ошибаюсь.

* * * * * * * * * * * * * * *

Буду просить Союз, чтобы дали какую-нибудь "низовую" работу. А то, может, и поеду куда-нибудь - в колхоз либо в рыбачью артель. Есть мысли об этом каком-нибудь путешествии к людям. А то, вероятно, я оторвался от жизни и людей и замкнулся в себе. Если все

так дружно кричат на меня - стало быть, я не прав.

Однако, как ни странно, у меня нет сейчас растерянности или малодушия. Предстоящие (бытовые) трудности, конечно, страшат, но не настолько, чтоб паниковать. Да и осталось не так-то много жить, чтобы омрачать финальные годы. Как до удивления странно и нелепо складывается моя жизнь.

А главное, не чувствую себя виноватым. Плохой характер у меня - вот основная вина. Недаром говорят, что юморист - это прежде всего: плохой характер.

Ваш Лёня в этом случае исключение!..

В общем, Люсенька, не печальтесь за меня. Я справлюсь с огорчениями и буду рассчитывать на удачу.

Целую Вас и Лёню.

27.V.55. Михаил".

* * *

Предварительно поговорив в редакции "Крокодила", я написал Зощенко, что он, если хочет, может передать свои рассказы, предназначенные для "Октября", в "Крокодил". Если не все, то хотя бы два-три. Я понимал, как важно было для него снова увидеть свою подпись под своим наконец-то напечатанным рассказом...

В ответ на это предложение Зощенко прислал мне письмо.

"Ленечка, задача оказалась не легкой - дать для "Крокодила" *из тех 10 рассказов*, которые я писал для "Октября".

Все эти рассказы по размеру не подойдут журналу. Разве что 1 или 2 можно будет урезать. А все остальное пришлось бы сильно ломать и переделывать. Да и эти два, пожалуй, порядочно пострадают от сокращения.

Уж и не знаю, как поступить. Попробую подрезать один рассказ. А насчет остальных посоветуюсь с Вами, когда будете в Питере.

В крайнем случае я смог бы написать и новенький рассказ, — темы у меня имеются.

Сейчас дьявольски много работаю над переводом с норвежского и потому с такой медлительностью отправляюсь в литературное плавание...

В общем, еще подумаю пару дней, а потом, видимо, один рассказ подправлю для "Крокодила"...

Ваш Мих. Зощенко".

VII

С 1956 года жизнь Зощенко в литературе изменилась к лучшему. Барометр пошел на "ясно". Это видно из его последнего письма ко мне.

"Лёня, спасибо за книгу. Многие Ваши рассказы я ранее знал, но кое-что для меня - новое.

В общем, собрали книгу неплохо, успех обеспечен. Однако некоторые рассказы (2-3) я бы не включал - они ниже Ваших возможностей. Об этом поговорим при встрече. Ежели, конечно, Вам будет интересно мое суждение.

Что касается моих дел, то за прошлый месяц произошли значительные перемены.

Госиздат напечатает мой однотомник (избранные рассказы 20-х-30-х годов). Книгу выпустят до декабря этого года.

Вторую книгу (старых и новых рассказов) издает "Советский писатель".

Кроме того, много всяких литературных предложений. Но я постарел и упираюсь. Несколько рассказов, впрочем, я недавно напечатал - в "Неве" и в "Ленингр. альманахе" - выходит в августе. Так что дела поправились, и я сейчас, пожалуй, даже разбогател.

* * * * * * * * * * * * * * *

Все, в общем, хорошо. Но -

...старость, черт ее дери,
С котомкой и клюкой.
Стучится, черт ее дери.
Костлявою рукой.
Могильщик думает:
Ну-ну,
И твой пришел черед".
Но я до сотни дотяну.
Скажу вам наперед.

К сатире получил отвращение. И теперь, вероятно, буду писать стихи.

* * * * * * * * * * * * * * *

Ну, будьте здоровы, дорогой. Желаю успеха и радостей.

Привет. М. Зощенко.

15.VII.56".

VIII

Последний раз мы встретились с ним в Москве. Он приехал на юбилейный горьковский вечер. Но чувствовал себя настолько скверно, что К.И. Чуковский отсоветовал ему идти на торжественное собрание. И он не пошел, хотя ему очень хотелось там быть и даже выступить с воспоминаниями об Алексее Максимовиче.

Когда мы увидели Михаила Михайловича (он пришел к нам), мы поняли, что Корней Иванович был прав. Миша очень похудел, глаза лихорадочно блестели, появилась какая-то зловещая смазанность речи: начинает фразу, чеканя каждый слог, и вдруг к концу слова сливаются в нечто неразборчивое. Пробыл он у нас недолго, за ужином ничего не ел. Когда Зощенко ушел, нас охватило предчувствие беды.

Через три месяца его не стало.

Мой любимый писатель

Первым произведением Михаила Булгакова, которое я прочитал, была его повесть "Роковые яйца", опубликованная в альманахе "Недра"- родоначальнике всех толстых советских журналов.

Повесть мне не просто понравилась - она меня восхитила. Чем? Своим буйным и остроумным озорством гоголевской закваски - вспомним "Нос", "Шинель", некоторые главы "Мертвых душ".

Писатель воспринимал жизнь как фантастику, а фантастику облекал в самые что ни на есть реальные формы и образы.

Я прочитал "Роковые яйца" и понял, что классическая линия русской литературы не прервалась, она продолжается, и вот ее продолжатель - Михаил Булгаков.

Это мое ощущение было обострено тем, что я жил тогда в квартире отца моей первой жены М. Н. Ангарской, а ее отец Николай Семенович Ангарский (Клёстов) был редактором "Недр". Это был интереснейший человек, старый революционер, к тому же большой знаток и любитель художественной литературы. Родом он был из Смоленска, и моя мать, кончившая смоленскую гимназию, знала молодого Клёстова, когда он только начинал свою революционную деятельность. Николай Семенович в свое время бежал из ссылки из "мест не столь отдаленных" и стал редактором сборников "Московского товарищества писателей", дружил с Буниным (до его эмиграции) и Вересаевым. Он и меня, начинающего писателя, познакомил с Викентием Викентьевичем Вересаевым, и мне очень понравился этот кристально чистый человек из той породы интеллигенции, которая смогла сформироваться только в старой России.

Следующая моя встреча с Булгаковым произошла во МХАТе, на спектакле "Дни Турбиных". И снова я пережил счастливые минуты и часы от соприкосновения с высоким искусством. Старший Турбин, Елена Турбина, Николка, капитан

Мышлаевский, Лариосик, — боже мой, как удивительно точно и правдиво были изображены драматургом и артистами эти представители русской военной интеллигенции. Во время гражданской войны я, еще мальчиком, жил на юге, на Кубани, и хорошо знал русскую военную среду. Отец мой окончил военно-медицинскую академию, был, следовательно, офицером медицинской службы, а родной брат матери Сергей Иванович Солнцев - кадровым офицером, поручиком, командиром роты пехотного полка, квартировавшего в Москве. После Октября 1917 года он был призван в Красную Армию, командовал дивизией и вместе с Тухачевским шел на Варшаву во время польской кампании. Короче говоря, трагизм классового расслоения русского офицерства во время революции был мне понятен и близок.

Знакомство мое с самим Булгаковым произошло значительно позже, перед самой войной с Финляндией, в сентябре 1939 года. Мы с женой поехали в Ленинград, чтобы посмотреть в одном из ленинградских театров мою тогда сильно нашумевшую пьесу "Павел Греков" (я написал ее совместно с Б. Войтеховым). Идем по перрону Ленинградского вокзала, ищем спальный вагон, и вдруг я вижу, что навстречу нам, явно выискивая тот же вагон, идет бросающаяся всем в глаза пара: женщина, о которых принято говорить "интересная", и мужчина в распахнутой волчьей шубе, — шерсть на ней отливала серебром при свете перронных фонарей. Мужчина был в очках и тоже - с точки зрения женщин - принадлежал к той же породе "интересных мужчин".

- Это же Булгаковы! — тихо сказала мне жена и окликнула Михаила Афанасьевича:

- Михаил Афанасьевич! Вы тоже в Ленинград?

Мы познакомились. Оказалось, что Булгаковы (Елена Сергеевна и Михаил Афанасьевич) едут в Ленинград в связи с предстоящей постановкой в одном из ленинградских театров (в каком - не помню) пьесы Булгакова "Дон Кихот", только что поставленной вахтанговцами.

Наши купе в спальном вагоне оказались соседними, и мы долго не ложились, болтая о том о сем, а главным образом о делах театральных, — я тогда чувствовал себя больше драматургом, чем прозаиком.

В Ленинграде мы остановились в "Астории", днем мы занимались каждый своими делами (мне очень хотелось показать М.А. "Павла Грекова", но так и не удалось это сделать), а вечерами обычно сидели допоздна в номере у Булгаковых. Эта идиллия продолжалась дня два-три - не больше.

Как-то вечером, помню, я пошел в гостинице в номер

Булгаковых и никого в нем не застал. Дежурная по этажу сказала мне, что "он сам" (т.е. Михаил Афанасьевич) заболел и что "она" (т.е. Елена Сергеевна) ухитрилась срочно достать билеты на Москву, и они уехали каким-то дневным поездом.

На следующий день и мы с женой тоже уехали из Ленинграда.

По приезде в Москву я позвонил по телефону на квартиру Булгаковых. Трубку взяла Елена Сергеевна. Она сказала, что Михаил Афанасьевич болен очень серьезно, никого не принимает, но она ему скажет, что звоню я.

Через несколько минут Елена Сергеевна сказала мне:

- Михаил Афанасьевич просит вас прийти к нам вечером, часов в шесть. Вас он примет.

...Сердце мое сжалось, когда я оказался в маленькой квартире Булгаковых у Кропоткинских ворот. Елена Сергеевна еще в прихожей сказала мне, что Михаил Афанасьевич почти ослеп, что он не переносит света и лежит в темной комнате с занавешенными окнами. У него разболелись надпочечники - эту болезнь он получил по наследству от отца, который страдал той же болезнью и умер 49 лет от роду. А Михаилу Афанасьевичу тоже исполнилось 49 лет.

И вот я вхожу в темную спальню, где лежит на кровати Булгаков. В углу на столике горит какой-то свечной обломок, но свет в сторону больного не падает. Булгаков - в длинной белоснежной ночной рубахе, и невольно у меня возникает в памяти известный портрет умирающего Некрасова работы художника Ге.

Я пробыл тогда у Булгакова часа два-три. Говорил больше он, я молчал, слушал и иногда задавал вопросы.

О чем говорил Булгаков?

Главной темой была история с запрещением его последней пьесы о юности Сталина. Об этом писали многие, знавшие Булгакова ближе, чем я, и поэтому я не стану повторять то, что известно. Я скажу лишь о том, что волновало и тревожило в связи с этим печальным происшествием самого Булгакова. Он сказал мне:

- Вы же, наверное, успели уже узнать наши литературные нравы. Ведь наши товарищи обязательно станут говорить, что Булгаков пытался сподхалимничать перед Сталиным и у него ничего не вышло.

Тут он повысил голос насколько смог и закончил так:

- Даю вам слово, и в мыслях у меня этого не было. Ну, подумайте сами, какой это замечательный драматический конфликт: пылкий юноша-семинарист, революционно

настроенный, и старый монах - ректор семинарии. Умный, хитрый, с иезуитским складом ума старик. Ведь мой отец был доктором богословия, я таких "святых отцов" знал не понаслышке.

Говорил Михаил Афанасьевич и о том, что финская кампания - это сигнал к мировой войне, которая должна неминуемо вспыхнуть в самом скором времени. Запомнилась мне одна его пророческая фраза:

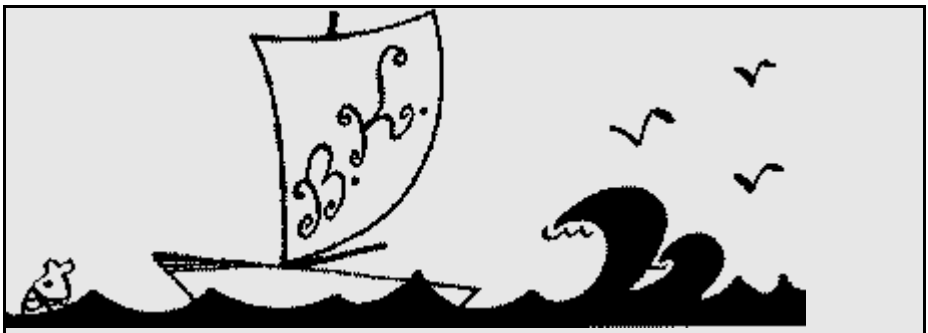
- Я этого уже, конечно, не узнаю, но вы узнаете. Попомните мое слово: война наделает в мире много бед, в Париже на бульварах будут расти вот такие огороды (он показал жестом, какие они будут), потому что парижанам нечего будет кушать.

Мы простились, и я ушел от Булгаковых, еще более угнетенный недобрыми предчувствиями, которые меня мучили и до этого визита.

Через несколько дней я уехал в Крым, в Ялту, в наш Дом творчества, а недели через три жена мне сообщила по телефону из Москвы, что Булгакова не стало.

Во всем своем классическом блеске он воскрес для советского читателя значительно позже.

Булгаков-писатель жив и будет жить, пока существует русская литература.



Интересный человек

Среди многих интересных людей - и писателей и неписателей, — с которыми я встречался на всем протяжении своей долгой жизни, Валентин Петрович Катаев был для меня одним из самых интересных, а пожалуй, и самым интересным человеком.

Поэтому мне так и трудно о нем писать.

Пишу, а мне кажется, что он сидит рядом и читает то, что я о нем пишу. И улыбается своей неповторимой иронической "катаевской" улыбкой и в своей прелестной катаевской иронической манере говорит нечто не очень одобрительное о моих писаниях.

Одно время мы с ним крепко дружили. Дружба наша началась в пятидесятых годах, когда я поселился в Переделкине на даче, где жил и летом, и зимой.

А познакомил меня с Катаевым значительно раньше его родной брат Евгений Петров (Е.В. Катаев) - мой большой друг и в известной степени опекун на первых порах моего московского писательского становления.

Я просто не мог себе представить переделкинскую жизнь без ежевечернего общения с "катайчиками", как мы с женой называли катаевскую семью, состоящую из жены писателя Эстер Давыдовны и его детей- Евгении Валентиновны (просто Жени - для нас) и Павла Валентиновича (просто Паши).

Впрочем, иногда - довольно часто - я встречался с Валентином Петровичем и днем. Мы совершали совместные прогулки "вокруг" переделкинского "света". И он, и я ходили быстро, и он, и я при этом держали в руках трости, и он, и я много и громко смеялись, рассказывая на ходу друг другу разные смешные истории из жизни.

Я давно любил его произведения (и не только "Белеет парус"!) за их блистательное остроумие, за изящество формы, за

многоцветие языка, за все, что позволяло считать Валентина Катаева наследником русских прозаиков-классиков.

Не скрою, что мои симпатии к Катаеву возросли после того, как он лестно отозвался в "Правде" о моей маленькой комедии "Заместитель", поставленной в Московском театре эстрады и миниатюр. Играли в этой комедии такие талантливые артисты, как М. Миронова, Т. Пельтцер, Я. Вельский, а поставил режиссер Лобанов.

Ценность рецензии В. Катаева для меня заключалась еще и в том, что до появления ее в "Правде" какой-то газетный критик успел обругать меня в другой московской газете за то, что я в своей комедии, по его словам, ..."дискредитирую почетное звание домашней работницы". Написано это было на полном серьезе!

В литературном мире (а точнее, мирке) известно было, что В. Катаев скуп на похвалу и что если уж он похвалил - значит, недаром! Допускаю, что кому-то моя дружба с Катаевым была не по душе и кто-то постарался сделать все, чтобы ее погасить.

Больше того, что я здесь написал, я ничего о причинах, прервавших нашу с Катаевым дружбу, сказать не могу. И не хочу! Скажу лишь, что мы наши отношения потом восстановили, но, увы, они уже не носили характера той дружеской близости, какими отличались раньше.

...Мне могут сказать: "Вот вы пишете об иронической манере катаевских суждений. Приведите хотя бы один пример таких суждений!"

Пожалуйста! Идем с Катаевым по переделкинской улице Серафимовича. К нам присоединяются дамы-литературоведы из Дома творчества. Идет разговор - о том о сем, как говорится. И вдруг из ворот своей дачи на мотоцикле выезжает К.И. Чуковский. Он сидит сзади своего внука (или правнука?) в седле. Корней Иванович - без головного убора. Седые кудри развеваются на ветру, лицо озарено благодушной улыбкой.

Дамы-литературоведы восторженно лепечут:

- Корней Иванович всегда так катается перед сном!

- Перед вечным! — говорит Катаев с каменным лицом.

Тот же Корней Иванович - сосед Катаева по даче - стоит у ворот катаевской дачи и рассказывает Валентину Петровичу про Тиночку, его внучатую племянницу:

- Мы с ней так хорошо играем, когда она приходит ко мне в гости. Куклу ее нянчим, стираем. — Корней Иванович жестами демонстрирует процесс стирки.

- Неужели она вам ваше бельишко стирает?! — говорит Катаев, изображая на своем лице ужас.

И еще. Вышли мы на очередную прогулку "вокруг света". Нас

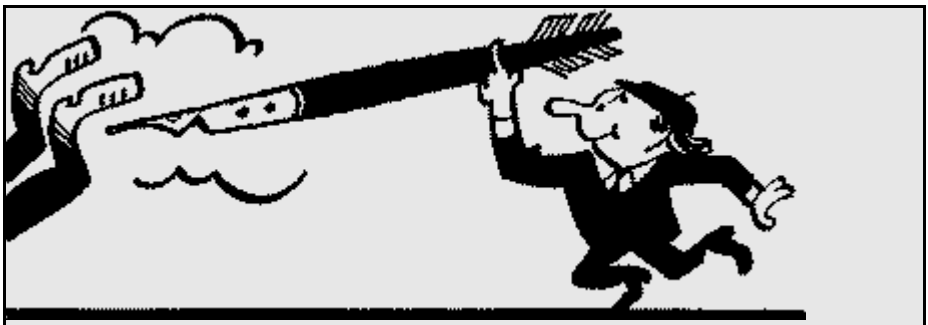
обгоняет черная "Волга", в которой сидит писатель С, а рядом с ним какой-то незнакомец, по внешнему виду из тех, кого в то время называли "вышестоящим товарищем". Писатель С. раскланивается с нами и, раскланявшись, что-то говорит своему спутнику.

- Вы знаете, что он сейчас сказал ему про нас? — спрашивает меня Валентин Петрович.

- Не представляю!

- Он сказал: "Это все мои эрэсэфэсэровские ребята гуляют. Хороший народ, но... трудный!.."

Время не только лечит, волны его очищают человеческую память от всего наносного и ненужного. В моей памяти Валентин Катаев по-прежнему мой бессмертный друг.



Мысль, ритм, деталь

Я получаю немало писем - от читателей, от начинающих литераторов, от юмористов-любителей, а порой и от ярых противников всякого юмора, в том числе и литературного.

Попадаются среди них и письма, в которых проскальзывает желание их авторов поменять свою профессию слесаря, инженера, маляра и т.д. на профессию "сочинителя смешных вещиц".

Один сочинитель двух десятков "юморесок" так прямо и спрашивает меня: "Товарищ Ленч, напишите мне, сколько мне заплатят за эти басни? Стоит ли овчинка выделки?"

Я не хочу упрекать моего корреспондента за его естественное стремление получить за свой труд соответствующее материальное вознаграждение, но, право же, никакой другой труд не рождает столько ложных представлений о своей легкости и доступности и столько обманчивых надежд на успех, как труд писателя-юмориста. Подобные взгляды распространены, увы, и в литературной среде, а не только среди людей, для которых юмор, сатира - лишь "отхожий промысел".

Вот почему я и решил огласить некоторые письма, как бы наивно и простодушно они ни звучали, и ответить на них в печати.

Принцип отбора писем для огласки был у меня такой: серьезность мотивов обращения ко мне с тем или иным вопросом и общественно-литературная ценность самой сущности письма. Сущности, а не формы.

Я - практик юмористической и сатирической литературы, а не ее теоретик. Мои ответы основаны на моем личном опыте, на моих личных наблюдениях, сделанных в собственной лаборатории и в других лабораториях смеха.

Начну я с письма тов. Б-ина. Он пишет:

> "Мне кажется, что мастер серьезного жанра пишет рассказ или роман, как бы обливаясь потом, работает

над описанием природы, дает глубокий психологический анализ. А писатель-юморист пишет очень легко, он, посмеиваясь, сочиняет свои рассказики... Может быть, я и ошибаюсь, когда так говорю... Напишите мне, пожалуйста, что, по-вашему, труднее - юмор или серьезная литература. Ведь у вас есть и серьезные рассказы, особенно в книге "Последний патрон"..."

Драматурги утверждают, что труднее всего выстроить именно пьесу, то есть преодолеть композиционные трудности, свойственные драматическому произведению.

Авторы пространных романов считают самым трудным жанром литературы жанр романа - его объемность, его интеллектуальную значительность, его исследовательскую, или проповедническую, или исповедальную глубину.

Авторы, издающие свои стихи в издательстве "Малыш", говорят, что труднее всего сочинить хороший доходчивый стишок про собачку и козлика.

И все по-своему правы.

Легких жанров в литературе нет, — я имею в виду настоящую литературу. С этого трюизма я и позволю себе начать ответ на первый наивный вопрос.

Жанр короткого юмористического рассказа - труднодоступный жанр Кажущаяся легкость написания такого рассказа - явление оптического обмана.

Широкая публикация слабеньких, любительских, полуграфоманских "юморесок", отобранных редакторами-непрофессионалами, и другие примеры девальвации юмора способствуют усилению этого ложного представления даже в кругах людей, близких к литературе.

На мой взгляд, главная технологическая трудность, которая встает перед автором короткого юмористического рассказа, — это проблема концентрации. Крайне малая "санитарная норма" площади юмористической новеллы требует такой концентрации художественных красок, такого строгого отбора деталей, эпитетов, метафор, чтобы цель - то есть читательское восприятие - была поражена с первого же и единственного выстрела. В обширном романе могут быть проходные страницы, подводящие читателя к узловым сценам, — у бедного автора короткого рассказа каждая строчка на учете. В этом смысле мы, юмористы и сатирики, ближе к поэтам, чем к прозаикам. Я убежден, что хороший юмористический рассказ - это всегда стихотворение в прозе по своей тональности и по краскам.

Зощенко называл короткий сатирико-юмористический

рассказ "ударом в одну точку". Отличное определение! Все подчинено одной ударной мысли, которую нужно донести до сознания читателя! Те, кто незнаком с тайнами нашей профессии, должны знать: комическая ситуация рассказа и есть образное выражение этой мысли. Вот почему юмористы подчас опускают пространные описания.

Всегда очень трудно начать рассказ. Он должен, как хороший автомобиль, с места брать скорость.

Рассказ "Нервные люди" - знаменитый рассказ на "коммунальную" тему - Зощенко начинает так:

> "Недавно в нашей коммунальной квартире драка произошла. И не то, что драка, а цельный бой. На углу Глазовой и Боровой.
>
> Дрались, конечно, от чистого сердца. Инвалиду Гаврилову последнюю башку чуть не оттяпали".

Посмотрите, как стремительно автор включил читателя в атмосферу рассказа, буквально в одно мгновение доставил его на место комического происшествия - в коммунальную квартиру. А какие точные, выразительные детали им найдены! Про драку сказано, что это была не драка, а "цельный бой" и в этом "бою" инвалид Гаврилов чуть не потерял "последнюю" башку. В этом и характер повествования, и его психология, и его время.

Найти точную начальную интонацию, запев рассказа, — это, пожалуй, самая главная трудность писателя-юмориста.

Финал рассказа тоже трудно писать. Он может быть и звонким, броским, может быть и спокойным, нейтральным. Но по сравнению с поисками начала для меня лично поиски финала - трудность второго разряда.

Читатель Ж-ков (из Ленинграда) пишет:

> "...бюрократы, очковтиратели, вельможи, болтуны, подхалимы, взяточники, хапуги, перестраховщики, дураки себе на уме, просто дурни, спекулянты, хамы, ханжи, хулиганы, склочники, зажимщики критики, пошляки, начетчики, догматики... А над кем еще можно смеяться в юмористических рассказах?"

Отвечая на этот вопрос, по-моему, надо прежде всего сказать об общественном такте писателя-юмориста.

Юморист, лишенный чувства гражданственности, способный смеяться по любому поводу, подобен гоголевскому мичману Дырке. Того, как известно, смешил показанный ему палец. К тому же юмориста типа Дырки всегда подстерегает опасность оказаться

в положении персонажа из народной сказки, который, встретив похоронную процессию, буркнул: "Возить вам не перевозить!" - то, что должен был сказать мужичкам, возившим зерно с урожайных полос.

Во время войны в Московском театре эстрады и миниатюр исполнялся моноскетч (я не помню, кто был его автором), и в нем было такое место: домашняя хозяйка, от лица которой шел монолог, рассказывала, как ее дитя, обмакнув пальчик в банку пайковой сгущенки, обмазывало холодные трубы парового отопления сгущенным молоком.

- До чего умный ребенок! — восторгалась мама. — Такой маленький, а уже понимает, что топить не будут!

Этот пассаж зрители принимали плохо, некоторые даже писали в дирекцию театра протестующие письма. Автор, собственно говоря, тут не смеялся, а брюзжал по поводу неизбежных во время войны бытовых трудностей, и его обывательская шутка не доходила, даже возмущала. Вот вам типичный пример "сопротивления материала" в юморе. В это же время сатирические страницы фронтовых и армейских газет, фронтовые сатирические журналы били по врагу "прямой наводкой", и среди лобовых незатейливых острот и миниатюр порой сверкали подлинные перлы настоящего остроумия. Жаль, что фронтовая сатира времен Отечественной войны с фашизмом не собрана и не исследована.

Еще один пример. Когда воздушные пираты Геринга начали бомбардировать Лондон, лондонцы стали носить нагрудные значки с изображением воздушной бомбы и с надписью: "Я плюю на бомбы!"

Вот это настоящий военный юмор!

...Раз уж мы заговорили о "сопротивлении материала" в сфере юмора, то надо еще сказать о грехе монотонности. Юмориста, сатирика, пишущего в одной манере (допустим, он пристрастился к спокойной, округлой форме бытового комического рассказа), всегда подстерегает еще одна опасность - впасть в этот грех, в особенности при составлении книги своих рассказов.

Форма сатирико-юмористического рассказа - очень гибкая и емкая штука: рассказ-монолог, рассказ в письмах, рассказ-пародия и т.д. Надо обязательно приучать себя к многообразию формы подачи материала.

Во время Отечественной войны я, работая во фронтовой газете, стал сочинять сатирические антигитлеровские сказки. Это была стилизация под старую солдатскую сказку. Меня очень увлекла эта форма; настолько увлекла, что малоприятное литературное происшествие с одной из моих фронтовых сказок

меня скорее даже обрадовало, чем огорчило. Случилось вот что. Один проворный фольклорист взял сказку из моей книжки "Осиновый кол", выпущенной издательством "Советский писатель" во время войны, дал ее одной интересной старухе - сибирской сказительнице, и бабушка на мой сюжет сочинила свою сказку, которая была затем издана где-то "во глубине сибирских руд" с примечаниями и вступительной заметкой этого фольклориста: вот, дескать, как звонко народ говорит о фашизме!

Когда я сказал фольклористу, что так поступать негоже, он обиделся и возразил мне:

- Она ведь не текстуально, не дословно вашу сказку рассказывает, кое в чем она ее дополнила и расширила - это во-первых, а во-вторых, посмотрите, какими кондовыми языковыми узорами наша бабушка расширила ткань вашего сюжета: слова-то, как свечечки перед иконой, горят!

Я сказал ему в ответ:

- Бабушкины слова действительно горят, как свечечки, но икона-то моя! Какой же это фольклор!

Огорчили меня бесцеремонность проворного фольклориста, его фальсификаторские зигзаги, но потом я подумал, что, если бы в моей фронтовой сказке не было кровяных телец народности, пускай в самом скромном количестве, вряд ли бы тогда сибирская бабка приняла мой сюжет и мою сказовую манеру, обрадовался этому и... махнул рукой! Бабка разъезжает по тыловым госпиталям, по сибирским резервным гарнизонам, читает сказку и имеет успех. Ну, и на здоровье! Во время войны не считаются, чья винтовка послала пулю во врага - твоя или моя! В конце концов, подумал я еще, фольклор и литература - это сообщающиеся сосуды, и если первый обогащает вторую, то и литература способна обогащать фольклор. Эта гордая мысль меня окончательно успокоила. Самая форма сказки, ее аллегоричность весьма удобны для нанесения сатирического "удара в одну точку". Надо в меру своих сил поддерживать эту благородную щедринскую традицию русской литературы.

Начинающий юморист К. прислал мне рассказ с просьбой помочь опубликовать его сочинение. Я ответил своему корреспонденту, что рассказ его безвкусен и что помочь я не смогу. К. не замедлил мне написать еще одно письмо, в котором, оправдываясь, между прочим, говорит: "Я живу в провинции, от Москвы далеко. Вкус можно требовать от человека, который проживает в самом центре".

По-моему, нельзя быть хорошим юмористом с дурным вкусом. Вкус и талант - это как деньги в известной поговорке: или они есть, или их нет. И местожительство тут ни при чем, Феликс

Кривин, интересный и своеобразный писатель-юморист, живет, например, не в Москве, а в Ужгороде. В чем, по-моему, проявляется вкус у писателя-юмориста? В том, что он не позволяет себе пользоваться шаблонными, ходячими схемами смешного, не занимается перелицовыванием на новый лад старых анекдотов, не берется за битые-перебитые темы, а ищет новые, свежие с такой же энергией и настойчивостью, как и собственную, нестереотипную манеру письма.

Юмориста, обычно пишущего много, всегда подстерегает и еще одна опасность: впасть не только в грех монотонности, но и в грех вольного, а чаще всего невольного заимствования комического сюжета. Что-то где-то он услышал, кто-то что-то ему рассказал, и наш юморист уже хватает свой "быстрый карандаш" и сочиняет рассказ на основе это-то "что-то". А потом, когда рассказ уже опубликован, оказывается, что это "что-то" уже было, было и было! Между тем вкус писателя-юмориста должен был бы тут остановить его руку. Евгений Петров говорил мне:

- Когда мы с Ильфом сочиняем, бывает так, что мне и Иле (так он звал Ильфа) приходит в голову один и тот же эпитет, один и тот же заворот, одна и та же острота. В таких случаях мы, как правило, безжалостно отбрасываем эти "находки": ведь если этот эпитет или острота одновременно пришли в голову двум людям, они, видимо, могут прийти в голову и трем, и четырем, на них уже лежит печать банальности, они лишены прелести неожиданного.

Недавно я прочитал рассказ молодого одаренного юмориста. Все в рассказе было хорошо: современная атмосфера, современные молодые сатирические герои, но сюжет был взят у старого финского писателя-юмориста Лассила. Наш юморист приспособил к короткому рассказу сюжет его романа "За спичками", переведенного в свое время на русский язык М.М. Зощенко.

Не напрашивается ли тут аналогия с упомянутой сибирской бабушкой-сказительницей?

Нет! Сибирской бабке подсунул чужую сказку проворный беспринципный фольклорист, и бабка, благословясь, даже не считая свой поступок предосудительным, стала ее рассказывать по-своему. С молодым писателем-юмористом случилось другое. Наверное, он не читал роман "За спичками", но где-то от кого-то услышал нечто (а это нечто и было вольным пересказом сюжета финского романа) и... сочинил рассказ на чужой сюжет. Заимствование было несознательным. Но ведь в таком, как этот, рассказе сюжет определяет успех на девяносто процентов!

Начинающий автор К-ский просит:

"Я не могу сам придумывать сюжеты для своих рассказов и пишу их по рассказам своих знакомых и друзей. Нужно ли посвящать обязательно такие рассказы человеку, который тебе дал сюжет? Вот в Вашей книге "Адская машина" есть несколько рассказов, которые Вы посвятили некоторым людям. Значит, эти сюжеты Вам рассказаны или я ошибаюсь? Пожалуйста, напишите, над чем Вы легче работаете, над сюжетом, который Вам рассказали, или над сюжетом, который Вы сами придумали".

Что касается чужих сюжетов, то я уже сказал о них. Если сюжет или ситуация подсказаны мне моим другом, то непременно он прочитает свое имя в посвящении. Я вообще очень люблю рассказы "документального" порядка, которые подсказаны самой жизнью. Я живу летом за городом. Люблю бродить по окрестным лесам. И вот порой нахожу маленькие, а иногда и крупные корни деревьев. Они похожи то на людей, то на мелких зверюшек. Есть художники, которые делают из подобных находок деревянные скульптурки. Иногда какой-нибудь жизненный случай, с которым сталкиваешься, выполняет для меня роль такого корня. Мне остается только, как говорят, отсечь все лишнее.

Но когда же получается юмористический рассказ лучше: когда он почти целиком "идет в руки" или когда писатель-юморист его "выдумывает"?

На такой вопрос довольно опасно отвечать! Опасно потому, что, если я скажу, что рассказы приятнее выдумывать, то я тем самым как бы благословлю начинающих юмористов высасывать из пальца свои сочинения...

В каждом юмористическом рассказе должна присутствовать комическая фантазия, какое-то преувеличение. Но в основе его, на мой взгляд, должен лежать правдивый жизненный материал, точнее, жизненное наблюдение, импульс, идущий от жизни. Любой гротеск, по-моему, должен опираться на гранитный фундамент реальности: иначе он "не дойдет".

Тот же корень, похожий на человека или зверя, после обработки становится скульптурой, то есть художественным произведением. Самородок юмора может стать рассказом, а может и не стать. Все зависит от того, кто и как его "обработал" Если читатель в обработанном писателем юмористическом кусочке жизни, "грубом и бедном", увидит нечто большее, чем кусочек жизни, — это будет означать, что юморист выполнил свою задачу писателя-реалиста: показал в капле воды мир океана.

Вот любопытные строки из письма А-ва, молодого

литератора, серьезно, видимо, раздумывающего над тайнами юмористической литературы:

> "Вы нашли тональность, написали первый абзац юмористического рассказа. И вдруг почувствовали, что тут нет улыбки, нет внутреннего юмора. Что делать? Педалировать юмор? Или выбросить все в корзину?"

Между работой над текстом рассказа и педалированием юмора существует большая разница. Юмор должен быть естественным, и педалировать юмор, по-моему, нельзя. Если природа наградила вас тенором, — вы, как бы ни старались, басом не запоете. Нарочитого усмешения литературный рассказ не терпит.

Начинающая юмористка Регина С. пишет:

> "Мне мои товарищи и те из родных, кому я показываю свои произведения, говорят, что я пишу пародии, а не рассказы. Но, по-моему, пародийный рассказ имеет право на существование... Очень плохо у меня с жаргоном... Ведь мне негде услышать всякие такие интересные словечки, которые знают писатели мужского рода... А я чувствую, что жаргонные слова очень бы украсили мои вещи. Да вот где их наберешь?.. Как Вы относитесь к рассказам от первого лица?"

Попробую ответить.

Юмористический рассказ от первого лица таит в себе известные опасности. Опасность заключается в том, что рассказ от своего имени (я, мы) настораживает читателя, он воспринимает такие рассказы как показание свидетеля, очевидца. В таких рассказах надо, как мне кажется, даже самые невероятные гротескные (юмористические или драматические) события описывать с полной реалистической их детализацией - убедительно и достоверно. Я не люблю Кафку, но он, надо ему отдать должное, умел это делать.

О пародии в рассказе.

Лично для меня пародия никогда не представляла целевого интереса, и она нечастый гость в моих рассказах. Я предпочитаю рассказы реальные, а не пародийные описания. Меня прельщают комические характеры людей, их психология, их отношения, очень часто вызывающие со стороны смех, улыбку, о которых они даже и не догадываются. Если я прибегаю к пародии, то она возникает у меня обычно в рассказах на темы литературы и искусства.

Жаргонные словечки, местные комические словообразования - законный хлеб юмориста. По-моему, однако, не надо злоупотреблять всем этим добром, потому что очень часто жаргон огрубляет словесную ткань юмористического рассказа. Он необходим там. где надо показать характер человека. По-моему, речь простого человека "от земли" следует передавать через его синтаксис, а не через перенасыщение языковыми вывертами.

В юмористическом рассказе диалог должен быть похож на игру мастеров "маленькой ракетки", когда комическая реплика перелетает от одного персонажа к другому подобно стремительным мячикам пинг-понга.

Лет десять тому назад я выступал с рассказом о своей работе перед студентами Литературного института имени Горького. Один из студентов прислал мне довольно желчную записочку. Вот она:

> "Вы говорите, что юмористический рассказ - это стихотворение в прозе. Вы имеете в виду стихотворение в прозе великого русского писателя Тургенева или что-то другое? Разъясните. И вообще как насчет национального русского юмористического рассказа? Кого Вы считаете русским юмористом: Гоголя, Лейкина, Чехова, Зощенко, Ильфа-Петрова?"

Да, юмористический рассказ требует ювелирной работы над словом. Писатель-юморист должен в совершенстве знать свой родной язык, его пластику и его музыкальность.

Я немного понимаю по-украински и люблю слушать юмористические новеллы Остапа Вишни на его родном языке. Веселая музыка этих новелл, многоцветный словарь Вишни звучат именно как стихотворение в прозе.

Теперь о естественности юмора, о его национальном характере.

Юмор, по-моему, это особенность жизнеощущения у человека. Замечено, что юмористы - очень разные люди. Есть среди них и открытые весельчаки, есть и мрачные (внешне) люди, сдержанные, даже суховатые. Но у каждого сидит в глазу осколок некоего таинственного зеркала, подобный тому, который заставил андерсеновского мальчика видеть мир по-своему. Но ведь писателю-юмористу нужно заставить и других людей глядеть на мир его глазами! Если он неестествен в проявлениях своего юмора, если он только притворяется весельчаком - он не добьется успеха. Нет ничего хуже надуманного, натужного юмора. Откровенно комический рассказ надо садиться писать только тогда, когда тебя самого смешит твоя придумка, в противном

случае тебя постигнет неудача. Знаю это по собственному опыту.

Чем ярче проявляется национальный характер юмора в произведениях писателя-юмориста, тем, как правило, легче он преодолевает языковые барьеры. Англичанина Джерома с его чисто английской комической рассудительностью, чеха Гашека с его прелестной простодушной грубоватостью, американца Марка Твена с его великолепным хохотом во все горло, Шолома-Алейхема с его еврейской мудрой печалью "на донышке стакана", из современников, допустим, Мрожека с его польской иронией и несколько изощренным интеллектуализмом знает весь мир.

Юмористические писания, лишенные национального колорита, подобны бумажным цветам. Похожи на живые, а все-таки не живые.

На мой взгляд, русский юмор ярче всего выражен у Чехова - с его изяществом, глубиной, с легким налетом грусти в самых, казалось бы, веселых рассказах, в таких, как "Роман с контрабасом", например. Могучий юмор Гоголя, как мне кажется, — это слияние двух национальных стихий смеха: украинской и русской.

Чехов облагородил русский юмористический рассказ. Когда Чехов начинал свою литературную деятельность, в это время культура такого рассказа в России уже существовала. Достаточно назвать Лейкина.

Чем отличался Лейкин от Чехова?

Мне кажется, что в каждом юмористическом опусе Чехова, за каждым самым "пустяшным" его рассказом стояла жизнь в ее красочном многообразии. У Лейкина этого не было. Но он был способный писатель. Он имел своего читателя - купца. Купцы его обожали. Это был их самый любимый писатель. Он писал смешно, но это был бескрылый бытописатель, не больше.

И это тоже резко отделяло его от острого реализма Чехова.

После Чехова развитие короткого юмористического и сатирического рассказа в России шло очень интенсивно и очень интересно.

Конечно, здесь нужно сказать о сатириконцах. Главные из них - это Аверченко, Тэффи и Бухов.

Сатириконцы в лучших своих рассказах продолжали чеховскую линию юмористического короткого рассказа, но в целом, как мне кажется, они перенесли на русскую почву европейские тенденции юмора и европейскую школу юмора. (Не случайно Джером Джером был переведен сатириконцем Георгием Александровичем Ландау и издан впервые в библиотеке "Сатирикона".)

В чем, с моей точки зрения, здесь было отступление от

чеховской линии?

В том, что вместо чеховской реалистической глубинной содержательности, вместо жизнерадостности чеховского юмора, вместо чеховской сатирической усмешки возникла эксцентрика. Стали широко культивироваться приемы гротескного изображения действительности.

Но дело в том, что приемом гротеска в юморе пользоваться, думается, надо очень осторожно, потому что грубость преувеличения убивает самый юмор. Я вижу главную прелесть чеховского юмора в его психологической правде. У Чехова всегда наличествует психологическая правдивость в его юмористических рассказах. Она и подкупает, и смешит.

Некоторые свои рассказы, где были сделаны отступления от психологической правды, от правды вообще, где был гротеск во имя смешного, Чехов затем в собрании сочинений исправлял.

Помните рассказ о дачниках? Муж и жена на платформе мечтают о том, как они пойдут сейчас домой, побудут одни, отдохнут... И вдруг подходит поезд и приезжают родственники. Муж и жена думают теперь о другом - о том, что дома у них один рябчик на двоих, и этого рябчика гости съедят, и что настал конец тихой, спокойной жизни!.. У Чехова в рассказе, который был напечатан в "Осколках", конец такой: потрясенный муж бросается под поезд, жена утопилась в пруду, и автор говорит: "Как хорошо, что у меня нет родственников!" Чехов для книжки исправил эту концовку - она ему показалась слишком грубоватой для точного и житейски правдивого рассказа, — гротеск был убран.

Когда я начинал свой путь как писатель-юморист, передо мной было много соблазнов. Был Зощенко, которому многие подражали, но я считаю, что Зощенко нельзя подражать: настолько он уникален, так же как и Маяковский. Можно в чем-то следовать зощенковской традиции, но подражать ему нельзя. Мне близок чеховский лиризм, мне близка чеховская грусть в веселом рассказе, которую можно найти у Чехова в большом количестве его произведений.

В пятидесятых годах на книжных прилавках появились переводы интересных современных польских юмористов, потом стали переводить венгерских, чешских, югославских юмористов, для многих из них то. что называется европейской школой, было родным домом. В то же время уже разошлись давным-давно по семейным книжным полкам книги Михаила Зощенко, Ильи Ильфа и Евгения Петрова, Валентина Катаева, Аркадия Аверченко, Аркадия Бухова. Новых изданий не было, а с другой стороны, наступал острый, лаконичный, со сходной проблематикой, почти

что нашей, польский юмористический рассказ и рассказы юмористов других социалистических стран. На мой взгляд, даже наметилась среди советских молодых юмористов "польская школа". Как мне кажется, молодежь это увлечение благополучно пережила, и в лучших своих произведениях наши подающие надежды юмористы возвращаются к принципам русской реалистической новеллы.

Лично мне претит юмористическая новелла с голым скелетным остовом. У меня самого есть такие вещи, но я не называю их рассказами. Это только эскизы будущих произведений, рабочие зарисовки. Увы, авторы таких "рабочих" мелочей считают, что это и есть основное в их творчестве. Мне кажется, что даже рассказ-мысль не следует доводить до оголенного состояния и что та же мысль будет воспринята читателем лучше, когда она станет художественным фактом, а не только фактом интеллектуального общения, если можно так выразиться.

Я за ясную, доходчивую мысль в юмористическом и сатирическом рассказе, за наполненность рассказа добрым человеческим чувством, если он лирический. Очень часто, особенно у начинающих юмористов, "подтекст" и "многозначительность" - величины мнимые. Многозначительность очень часто оказывается далекой от всякой философской мысли и порой оборачивается элементарной бессмыслицей. Как тут не вспомнить язвительные слова умницы Сомерсета Моэма: "Всегда найдутся дураки, которые отыщут в них скрытый смысл".

В заключение хочется сказать еще об одной драматической трудности на пути писателя-юмориста (да и не только писателя!) - я имею в виду глухую, подчас враждебную и нередко оскорбительную реакцию на его творчество со стороны людей, лишенных чувства юмора, но считающих себя вправе судить юмористов и сатириков по всей строгости законов своей мрачной души.

Вот совсем свежий пример. Журнал "Смена" опубликовал мою статью о творчестве Аркадия Райкина. Пенсионер З-в откликнулся на статью письмом в редакцию, требуя от последней опубликования своего писания на страницах журнала. Опубликовать письмо пенсионера З-ва, однако; нельзя, потому что его неприличная грубость исключает подобную возможность. Пенсионер З-в вылил на голову народного артиста, подлинного любимца миллионного советского зрителя, великолепного мастера смеха, ушат помоев, хотя он сам при этом признается, что "я не видел его выступлений по телевизору, но по радио слушал, как смеялась публика на его выступление. Если

проанализировать, то для здравомыслящего человека не смешно"... Меня пенсионер З-в, само собой разумеется, попутно обругал за то, что я "по блату" и "по дружбе" похвалил Райкина в журнале, не указав на его "недостатки".

К счастью нашему, такие "здравомыслящие человеки" сейчас редкость, почти реликтовая. Но они все же существуют, в несколько - по сравнению с пенсионером З-вым - разжижженном состоянии. Литератор, который хочет отдать свой талант трудному и благородному делу юмора и сатиры, должен учитывать и эту трудность. Но только учитывать, а не бояться ее.

Кое-что о себе

Принято думать, что биография писателя - юмориста и сатирика изобилует всяческими веселыми эпизодами и "смешными штучками".

Моя биография - биография писателя в основном именно юмориста и сатирика - такими "смешными штучками", увы, не блещет, хотя занимаюсь я литературной деятельностью более 60 лет.

Родился я в бывшей Смоленской губернии в 1905 году. Это был серьезный год - год русско-японской войны и нашей первой революции. Отец мой был военным врачом.

В 1917-м, еще более серьезном военно-революционном году, наша семья переехала из Петрограда на Кубань, где, как нам казалось, жизнь была спокойная, а главное, более сытая, чем в красном Питере. К тому же отец служил на Кавказском фронте.

Но тут началась гражданская война, и такие пошли "смешные штучки", что всем стало не до смеха. Прибавьте сюда еще войну 1941-1945 гг. с немецким фашизмом.

В общем, время делало все от него зависящее, чтобы превратить меня из писателя веселого в сочинителя хмурых, драматических и даже трагических произведений.

В этой схватке со Временем я, как мне кажется, устоял. И своему основному призванию не изменял.

Жалею ли я сейчас об этом?

Нет, не жалею!

Критики и литературоведы меня своим вниманием не обошли. Хочется, конечно, чтобы они о тебе писали больше и проницательней, но, когда мне в голову приходят такие непозволительные мысли, я вспоминаю свой разговор с Аркадием Сергеевичем Буховым, сатириконцем и потом крокодильцем.

"Знаете, один наш ведущий критик (теперь можно признаться, что Бухов имел в виду К.И. Чуковского. — *Л.Л.*) сказал мне как-то: "Надо бы о Вас, Аркадией Сергеевич, большую статью написать, но ведь открывать Вас поздно, а закрывать рано!"

Тут, как говорится, ни убавить и ни прибавить.

Автор

notes

Примечания

1

М.Г. Семенов умер совсем недавно - меньше, чем через два месяца после смерти Е.П. Дубровина.